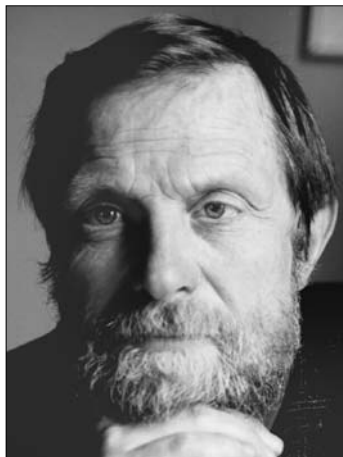


МИХАИЛ ЧВАНОВ



## МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

*За недоступными вершинами Рифейских (Уральских) гор живут блаженные гипербореи. Это счастливые и справедливые люди, здоровые и долговечные, жизнь которых — сплошной праздник в честь Аполлона, которые не знают ни тяжких трудов, ни кровавых раздоров. Страна гипербореев — солнечная, с благоприятным климатом. Солнце у них восходит во время весеннего равноденствия, а заходит во время осеннего, так что день и ночь делятся по полгода.*

Эсхил. “Прикованный Прометей”

В школе мы изучали историю Древнего Рима, Греции, но только не историю родного края. А уж историю своей семьи — Боже упаси, можно до такого докопаться, что лучше не трогать. А может быть, я просто был не любопытен, отчего испытываю стыд и перед своими предками, и перед самим собой. Я завидую своим землякам, башкирам и татарам, которые знают свою родословную до пятого, шестого колена, а то и дальше, хотя наша общая российская судьба ломала их не меньше нас. Уже взрослым я узнал, что мои предки по отцу и по матери в начале XIX века были куплены у какого-то помещика на Южный Урал работными людьми, попросту говоря, крепостными на строительство железодельного Симского завода горнозаводчиков

*ЧВАНОВ Михаил Андреевич родился в 1944 году в Башкирии. Автор более двадцати книг прозы и публицистики, председатель созданного им Аксаковского фонда. Лауреат Всероссийской литературной премии имени С. Т. Аксакова, премии имени К. М. Симонова, Большой литературной премии первой степени Союза писателей России, премии “Имперская культура” имени Э. Ф. Володина и “Александр Невский”. В 2000 году награждён орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени, в 2010 году — орденом Почёта. Почётный гражданин Уфы. Вице-президент Международного Фонда славянской письменности и культуры.*

Твердышева и Мясникова на земле, купленной или захваченной у башкир Шайиан-Кудейской волости. Как говорила моя бабка по отцу, Лукерья Ивановна, в девичестве Юдина, нас, Чвановых, проиграла в карты Екатерина Вторая кому-то в Подмосковье, а уж оттуда мы были проданы сначала в Поволжье, а потом и в Симской завод вместе со своими родственниками Курчатовыми, как потом окажется, предками “отца” отечественной атомной бомбы Игоря Васильевича Курчатова. В этом Симском заводе 30 декабря 1902 года по старому стилю он и родился — уже в семье выпускника Уфимской землемерной школы, помощника лесничего по лесо- и землеустройству в Симской горнозаводской даче, Василия Алексеевича Курчатова, а мои предки так и остались крестьянами, чтобы в 30-е годы XX столетия снова попасть в крепостную неволю, которая, пожалуй, была покруче прежней.

Пытался я выяснить происхождение своей фамилии. По всему, фамилия древняя, произошла, когда фамилии на Руси были большой редкостью. Было ведь в большинстве случаев как: Пётр, Иванов сын или Иван, Петров сын. Уже в церковной летописи 1606 года зафиксирован Чванов Феодорит, старец Вассианской Строкиной пустыни. По одной версии, фамилия Чванов произошла от глагола чваниться — гордый, тщеславный, важный... Но в то же время в церковно-славянской лексике встречается слово “чван” в значении “сосуд, посудина”. В таком случае можно предположить, что основатель рода Чвановых занимался изготовлением различных сосудов, в том числе, может, обыкновенной посуды.

Мои предки жили работными людьми не при самом заводе, а в заводской деревне Муратовке: заготавливали необходимый для строительства завода лес, жгли древесный уголь, занимались извозом руды и готовой продукции. Во время Пугачёвщины деревня была дотла сожжена восставшими башкирами, а многие мои родственники и не родственники были побиты.

Оставшиеся в живых отстраивались заново.

После царского манифеста 1861 года по освобождению крестьян из крепостной неволи мои предки выделились из Муратовки и основали деревню Русский Малояз; назвали так, потому что ниже по течению речки Малояз уже была деревня Татарский Малояз — татар-припущенников.

Со временем Чвановым, уже крепко вставшим на ноги, стало тесно и в Русском Малоязе. И в 1874 году 5 семей Чвановых, продав скот и холсты, оставив себе только по 2 лошади — на одной в поле не поработаешь — вскладчину купили у башкир свободную землю по 5 рублей за десятину на красавице реке Юрюзани выше по течению древней башкирской деревни Каратавлы. Несколькоми годами позже к ним подъедут ещё несколько семей из села Илек, тоже бывшие работные люди Симского завода, а также из-под Перми, ещё откуда-то. Место присмотрели, когда возили изделия Симского завода на Каратавлинскую пристань, где они догружались на барки с изделиями Юрюзанского и Катав-Ивановского горных заводов, стоявших выше по течению. В этот день торжественно при всём честном народе в Катав-Ивановском и Юрюзанском заводах спускались пруды, чтобы вода скрыла на время сплава по реке многочисленные перекаты и опасные камни-останцы, а в береговых скалах, в которые ударялась река на крутых поворотах, были устроены отбивные щиты из брёвен, железные костыли от которых сохранились до сих пор, вызывая недоумение туристов. Догрузившись на Каратавлинской пристани, барки сплавлялись дальше вниз по Юрюзани, которая впадала в реку Уфимку, или Караидель по-башкирски, что значит Чёрная река, а та в реку Белую, или по-башкирски Агидель, а русские люди, памятуя, что её воды через Каму впадают в Волгу, называли её Белой Воложкой. В Уфе изделия перегружались на пароходы, которые плыли до Нижнего Новгорода и дальше, покупателями железа у Ивана Борисовича Твердышева были английские купцы Томас Фольдуст, Джексон, Велден, Бехстер, Фридрикс, Гом и другие. А сплавщики от Уфы пешком возвращались обратно на Симской завод. Сохранились лоции сплава, где по минутам были расписаны короткие остановки, чтобы не упустить воду, отмечались редкие деревни, опасные скалы. Удивительный фольклор родил этот богатый впечатлениям и опасностями сплав.

Место для деревни мои предки выбрали напротив горы Сосновки. Здесь Юрюзань в лугах расходилась на два рукава, один из которых был старицей с множеством на всём её протяжении студёных родников. Рукава образовали два больших острова, на которые без пастуха можно было выгонять скот. Несколько лет назад, проездом заехав на родину, обнаружил, что Юрюзань в весеннее половодье прорвалась в древнее русло, заливные луга-пастбища оказались за Юрюзанью, и деревня оказалась без выгонов, впрочем, они оказались не нужными нынешней деревне, уже никто в ней не держит скотину. Но деревня осталась и без родников, а колодцы, которые раньше были в каждом дворе, в своё время были заброшены, пришлось тянуть водопровод.

Перед строительством домов, как положено в таком случае, отслужили молебен в честь Михаила Архангела и, назвав будущую деревню Михайловкой, приступили к строительству домов. Наш семистенный дом до самого последнего времени был самым большим в деревне. Он сложен всего из девяти венцов — такие огромные сосны росли на его месте; концы брёвен не пилены, а рублены, тесовая крыша была так просмолена, что она простояла без ремонта почти 90 лет. Дом до сих пор стоит, единственный в деревне постройки 1874 года.

Вслед за большевиками мы в хвост и в гриву кроём Временное правительство. Но, как к нему ни относись, за полгода своего существования оно успело провести начатую царским правительством Всероссийскую сельскохозяйственную и поземельную перепись. Следующая будет только в 30-е годы. Она покажет большевистской власти, насколько катастрофическими для страны стали результаты её хозяйствования, потому её итоги будут засекречены, а организаторы её будут расстреляны. Что касается Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 года, опросные листы по воле судьбы сохранились, кажется, только в Башкирии. Остальные погибли в пламени революции и гражданской войны. Большевики уничтожали всё, что было до них. Их можно понять, они начинали с нуля новую эру человечества. Мой прадед, Степан Тимофеевич Чванов, не самый богатый в Старо-Михайловке хозяин, согласно этой переписи, при трёх сыновьях, старший из которых во время переписи был на германской войне, имел 7 лошадей старше 4-х лет, 3 лошади нерабочих, жеребёнка, 4 коровы, нетель, 2 телёнка, 3 овцы, 4 свиньи, 3 подвинка, мелкую живность уж не перечисляю, молотилку, веялку, телегу на железном ходу, 5 десятин купчей и 37 десятин арендованной земли (1 десятина — 1,09 гектара).

К этому времени в деревне было уже 88 домов. 35 домохозяев были Чвановы, а это значит, что, по крайней мере, в 35 других домов замуж выходили тоже Чвановы. Население деревни стремительно росло, но увеличение дворов имело и другую причину. До 1917 года отцы семейств не спешили отделять женатых сыновей, потому что крестьянский уклад жизни требовал общих усилий в работе, тем более в суровом уральском климате. После революции крестьянский уклад стал резко меняться. Чтобы не попасть в число кулаков, стали срочно отделять женатых сыновей, особенно когда из Центральной России стали доходить слухи о сплошной коллективизации.

Помимо своего хозяйства, Степан Тимофеевич исполнял, если можно так сказать, две общественные нагрузки: был деревенским кузнецом и, зная грамоту, исполнял обязанности сельского писаря. По зову души вёл летопись не только Михайловки, но и соседних селений, в том числе башкирских и татарских: кто когда родился, женился, умер, какие были земельные споры, какие аномальные явления случались в природе... И по каждому случаю имел своё мнение, в том числе и в послереволюционное время. Наверное, от него мне передалась пагубная страсть к писательству. Говорили, был Степан Тимофеевич, как все Чвановы, невысокого роста, но коренастым и обладал огромной физической силой. Был непременно участником башкирских сабантуев, приходил на них незваным гостем и часто выходил победителем в национальной борьбе кураш, башкиры не могли простить ему этого. Было ли так на самом деле, но, по семейной легенде, кончилось это тем, что ему однажды добавили в водку (а выпить он, мягко говоря, любил) сулемы, которая прожгла ему насквозь пищевод и желудок, отчего он в страшных мучениях и умер.

После его смерти и после смерти его сына, моего деда, Алексея Степановича, в бабушкиной половине нашего дома на средней полке большого деревянного шкафа или, как у нас говорили, шкапа, лежали эти две большие пожелтевшие от времени амбарные книги-летописи, и опять-таки со стыдом и с горечью не могу понять, почему я уже старшеклассником не проявил к ним интереса. А ещё в шкапу по полкам лежали фотографические принадлежности, а в боку шкапа было проделано окошечко с красным стеклом, это была своего рода фотолаборатория. Стеклопластиковые негативы большими стопками лежали в подполе, я видел их каждый раз, когда по просьбе бабушки спускался туда за картошкой. В этих негативах была своеобразная фото летопись деревенской жизни. Дело в том, что на половине деда с бабушкой в войну жил на всякий случай эвакуированный по предписанию Сталина из Москвы немец Карл Карлович, фамилии уж не помню. А может, он был и не Карл Карлович, но все так его называли. За четыре года эвакуации Карл Карлович перефотографировал всех родившихся и умерших, отправляющихся на войну и редких вернувшихся с неё не только в Старо-Михайловке. Кроткий и мягкий человек, каково ему было, когда в деревне, в том числе и дед с бабушкой, стали получать с фронта похоронки. И никто ему, немцу, стгоряча дурного слова не сказал, не плюнул в глаза.

Деда своего, Алексея Степановича, я помню смутно, уже тяжело больным, уже не встающим с постели, он мог только садиться. Шёл из Русского Малояза с чьей-то свадьбы, жалея сапоги, в которых ещё женился, разулся, о какую-то колючку уколол ногу, кончилось это то ли заражением крови, то ли раком. Сидел на деревянной кровати, к нему постоянно приходили люди. Он очень любил меня, то и дело звал меня к себе, но я почему-то боялся его и при первом удобном случае убегал. И бабушка мне строго выговаривала:

— Ты что это всё время от дедушки убегаешь, словно от чужого.

А бабушка у меня была суровая, и я боялся её больше деда.

Хоронить дедушку пришло очень много народу, его очень уважали в деревне. И через много лет после его смерти, кто его знал, с большим уважением отзывался о нём.

Деда на фронт Великой Отечественной не взяли по возрасту. Когда пришла повестка старшему сыну, Николаю, бабушка стала ему наказывать:

— Ты, если что, сдавайся в плен. Немцы, они культурные. Вон отец твой в ту германску в плену как за пазухой жил. Взяла его из лагеря немецка баба в работники, мужик её на нашем фронте погиб, за лошадьми и коровами ходил... И только ли за лошадьми и коровами?..

— Ты что, дура! — зашипел, оглядываясь, дед. — Услышь кто, всей семьёй в Сибирь пойдём, а то и дальше... Смотри, не болтни где.

От Николая было только одно письмо. До сих пор он числится в без вести пропавших.

История женитьбы моего деда, Алексея Степановича, такова. Поехал он свататься к своей зазнобе в деревню Русский Малояз, а ему отказ: не ровня, отец зазнобы — самый богатый мужик в Русском Малоязе, у него свои виды на дочь. Получив отказ, вышел он за ворота и, основательно приложившись к бутылке, которую по принятому обычаю вёз на сватание, хотя сам раньше не пил, и говорит своим дружкам-товарищам: “Не буду возвращаться с позором, сосватаю первую попавшую девку, пусть самую бедную и некрасивую”. А тут как раз выходит из невзрачной избёнки напротив с покосившимся палисадником некрасивая девка с пустыми ведрами по воду. Он её и сосватал. А когда проспался, поворачивать оглобли было уже поздно. Так и жили: в нелюбви, но согласно. Я помню бабуку, глубоко верующую, суровую, до самой смерти носящую старинные сарафаны с проймами, которые она доставала из сундука по церковным праздникам; как только она, неграмотная, их высчитывала, ни разу не ошиблась.

Пришло время, в результате хрущёвского укрупнения районов отец остался без работы, и мы вынуждены были переехать из Старо-Михайловки в город Юрюзань, только уехали, через год районы в результате очередного глобального эксперимента снова разъединили, но не срывать же обратно, тем более что дом уже за символическую сумму продан родственникам.

Я уже студентом университета приехал в Старо-Михайловку навестить бабу и наконец забрать прадедовскую летопись. Загорелось во мне внутри что-то очень горячее, родственное, что потянулся я её обнять.

— Это ещё что такое! — оттолкнула она меня. — Девка ты, что ли? У нас это не принято... Нет, не нашенской ты породы...

На наш и без того суровый уральский характер, вероятно, наложился и наш особый микроклимат. Только сравнительно недавно я узнал, что место для будущего завода по производству самого мощного ядерного оружия, — теперь это недавно появившийся на картах город Трёхгорный, — было выбрано недалеко от нашей Старо-Михайловки среди других причин потому, что это самый гнилой угол на Южном Урале, здесь самое большое число дней в году, когда небо закрыто облаками. И таким образом город хотели спрятать от возможных самолётов-разведчиков; тогда ещё предполагать не могли, что в скором времени закружат над планетой всевидящие спутники.

Я спросил про тетради.

— А у меня Иван их в прошлом году забрал. Говорит, что они у тебя тут пылятся?

Я к дяде Ивану, — ему, как и моему отцу, было суждено вернуться с войны, — старшему сержанту милиции, чем он очень гордился. Я о тетрадях. А дядя Иван:

— Да садись ты, как раз к обеду, Анна сейчас на стол соберёт.

Поговорили о житье-бытьё, о моей учёбе, об отце. Я опять о тетрадях. Дядя Иван о жизни по новому кругу. Я опять о тетрадях.

— Да сжёт я их.

— Как сжёт?

— Да стал читать: земство, Столыпина хвалит, революцию, советскую власть поносит, продрозвёрстку, уполномоченных костерит. Хоть дело прошлое, но мало ли что, от греха подальше.

Как вспомню, снова стыдно и горько... Почему я не забрал эти тетради раньше? Наверное, ценности в них было больше, чем в моих писательских опусах.

Я встал и, не прощаясь, пошёл к двери. А дядя Иван мне вслед в своё оправданье:

— Тимофей вон Мызгин из-за одной фотографии, которую в своё время не изорвал, в лагерь попал...

Из раннего школьного детства помню, как, приходя в очередной раз в школу, под руководством учительницы замазывали в учебнике портреты, выкалывали глаза очередному соратнику товарища Сталина, который оказался врагом народа. Они были жестоки — буквари и учебники тех послевоенных лет. В них красовались румяные яблоки, груши, когда мы знали одну картошку. Задачки вроде этой: “У Маши было два яблока, мать дала ей ещё два яблока. Сколько яблок у Маши?” В кабинете биологии, который был одновременно кабинетом физики, в стеклянном шкафу на полочке лежало крупное румяное яблоко, как сказала нам учительница, сорта антоновки. У нас в деревне из-за сурового климата яблони тогда ещё не росли, это позже появятся районированные северные сорта. Я, конечно же, не мог не знать, что яблоко парафиновое, но оно так мутило моё сознание, что однажды вечером я выставил стекло в окне со двора школы, проник в кабинет биологии, который не закрывался на замок, и вонзил зубы в яблоко... На следующий день учительница начала урок с того:

— Кто не запомнил или плохо слушал, яблоко в шкафу парафиновое. Это всего лишь наглядный экспонат. Если бы оно было настоящее, оно давно бы испортилось.

Мне казалось, что она смотрела только на меня.

Ещё помню, как однажды всей школой готовились к новогодней ёлке, лепили бумажные цепи из газет, нарезаая их узкими полосками, склеивали звенья варёной картошкой, красили их чернилами, акварельными красками. Какая красивая получилась ёлка!..

Но перед самым праздником пришёл откуда-то строгий дядя и приказал цепи с ёлки снять и изорвать, сказав, что они олицетворяют собой цепи империализма. А ещё был такой случай. Перед выборами, — а выбрали тогда

только председателя Верховного Совета, и единственным кандидатом был товарищ Сталин, — отец принёс большой предвыборный плакат с портретом товарища Сталина. Не помню, отцу или матери пришла мысль сфотографировать меня с сестрёнкой Верой, которая была на четыре года моложе меня, на фоне портрета товарища Сталина. Нас усадили по обе стороны портрета. Фотография получилась отличная. Было полное впечатление, что мы на самом деле сидим рядом с товарищем Сталиным, прижавшись к нему с двух сторон. Отец поместил фотографию в рамку, вместе с близкими и дальними родственниками, повесил на стену промеж двух окон и был очень доволен. Но зашёл как-то дядя Володя Корнеев, который работал вместе с отцом в военкомате, и не одобрил затеи отца:

— Убери!

— А что?

— Мало ли что... Как бы боком не вышло. Надо же придумать — твой Мишка рядом с товарищем Сталиным! Всяко может обернуться. Убери от греха подальше!

Отец убрал фотографию не сразу, как бы не согласился с дядей Володи Корнеевым, дождался, когда тот уйдёт. А потом вытащил фотографию из рамки и бросил в то время горящую печку, не подумал, что это уж точно могло выйти боком: сжёг портрет вождя!

Отец не то, чтобы дружил с дядей Володи Корнеевым, но они оба работали в военкомате и потому иногда семьями вместе вечеряли. Однажды он у нас засиделся, шёл дождь, завтра было воскресенье, печь была жарко натоплена, и они с отцом легли спать на полу на тулупе.

Они долго говорили на разные темы, я постепенно уснул под неинтересный для меня разговор, но ночью проснулся, а они всё говорили. Они не догадывались, что я не сплю.

— А что ты думаешь о Блюхере? — спросил отец. — Ведь маршалом был. Такую роль в гражданскую войну сыграл. А Тухачевский?..

— Мишка-то спит? — с тревогой спросил дядя Володя.

— Спит, — успокоил его отец

Я затаился. Дядя Володя не сразу ответил:

— Я думаю, — глухо начал он, — что никакие они не враги народа. Тут что-то не то. Не может быть, чтобы все были врагами народа, а он чистенький. Мне кажется, что он убирает со своего пути всех, кто хорошо знает его. Он убирает со своего пути и подручных, вроде Ягоды и Ежова, потому что они слишком много знают, и на них можно списать все свои преступления.

— Ты говоришь, что слушать тебя страшно, — отозвался отец. — Узнают, за такое сразу к стенке.

— Я думаю, не побежишь доносить? — в темноте усмехнулся дядя Володя.

— Ну что ты!

— Тем более, что ты первый начал этот разговор... Ни с кем не говори на эту тему, от греха подальше.

Я любил дядю Володю, всегда подтянутого, в офицерской форме, хотя он офицером не был, улыбающегося, весёлого. Он всегда мне что-нибудь приносил. А теперь я вдруг узнал, что он страшный враг народа, я понял, что он говорил о товарище Сталине. Но он же сын старого большевика, который не раз приходил в школу, рассказывал о революции и гражданской войне, героем которой был! Но получается, что и мой отец враг народа, раз задаёт такие вопросы и обещает не выдать его? Или он задавал их специально, чтобы вывить врага народа? Пойти куда следует и доложить? Своего отца? Мне становилось жутко от этой мысли. Теперь, когда дядя Володя приходил к нам, я, к его недоумению, прятался от него. Теперь я ненавидел его. Ненавидел заклятого врага советского народа и самого товарища Сталина. Когда иногда вспоминаю об этом случае, холодок скребётся по спине: ведь мог пойти куда надо и доложить. Что-то останавливало меня.

Прекрасным временем был сенокос. Мы выезжали на несколько дней в район горы Дубовой. Первый закос травы был на обустройство шалаша. Кроме коровы и овец, у нас был конь, мерин Карька. Отец лет пять копил деньги на коня, жила в нём “кулацкая” кровь. Другие семьи побаивались

ночевать на Дубовой на своих сенокосах, поговаривали, что там прячутся ещё с войны дезертиры. В наших местах Транссибирская железнодорожная магистраль упиралась в предгорья Урала, поросшие лесами, переходящими в глухую тайгу. И дезертиры растворялись в тайге. Помню, однажды я проснулся от шороха. Я приподнял голову: у тлеющего костра-ноды какой-то мужик копался в мешке с картошкой, который отец почему-то оставил у костра. Я стал толкать отца в бок, а он, оказалось, не спал, закрыл мой рот рукой:

— Тихо!

Утром спросил его

— Почему ты его не спугнул?

— А вдруг он вооружён?.. Несчастный человек... Сам себя наказал...

Я не понял смысла его слов, он не стал объяснять.

Отец, фронтовик, тяжело раненный, не раз не без злорадства рассказывал историю, случившуюся в соседнем районе. Женская бригада работала холодным осенним дождливым днём на уборке свёклы, дело шло плохо. Наехал первый секретарь райкома партии, начал размахивать пистолетом. Вдруг из леса вышел дезертир с винтовкой, подошёл незамеченным со спины секретаря райкома:

— Герой — с бабами воевать! Пистолет на землю!

Тот беспрекословно дрожащими руками положил. Забрав пистолет, дезертир усмехнулся:

— Смотри, винтовка-то учебная, даже без затвора

После этой истории секретаря райкома партии якобы арестовали.

Почему-то не любил мой отец коммунистов, а особенно — секретарей райкомов партии.

Нас, детей 44-го года рождения, было мало. Как правило, мы были детьми инвалидов войны, которых после лечения не призвали в армию во второй раз. В десятом классе даже чуть не закрыли класс, всего 7 человек, и то спасли два второгодника. А перед нами было два девярых и два десятых класса. В результате у нас даже не было выпускного вечера.

Директором нашей начальной школы был Кузьма Николаевич Юдин. Мы, ученики, его боялись, хотя он никогда не повышал голоса. Со всеми вежливый, аккуратный в одежде. По партийным и советским праздникам — в президиуме торжественных собраний. А как не пользоваться таким авторитетом, когда за спиной 25 лет партийного и педагогического стажа! Но, немного повзрослев, я заметил, что многие из взрослых на нашей улице с ним не здоровались. Мне было обидно за него, я объяснял это невоспитанностью, некультурностью этих людей.

Однажды, приехав к родителям в Юрюзань на студенческие каникулы, в разговоре с матерью, вспоминая своих учителей, я вспомнил и Кузьму Николаевича:

— Некоторые в деревне его почему-то недолюбливали. То ли завидовали?

Мать усмехнулась:

— Ну, как не завидовать?! Он в почёте, по праздникам в президиумах, партийные пайки, а мы — как земляные черви.

— Ну, разве он виноват в этом? — возразил я.

— Где-то в 30-м году встал вопрос о школьном учителе. Старого учителя, Козлова, хороший был учитель, прямо с уроков взяли. Освободился только после войны. Так торопился к семье, не стал пережидать непогоду, в страшный мороз пошёл со станции Кропачёво домой, а это 25 километров, и замёрз в пути... Ну, так вот. У Кузьмы Николаича четыре класса образования, но других грамотных в деревне нет. Ставить его учителем, но он женат на дочери раскулаченного, потому его и в партию не принимают. Что делать? Он взял и бросил Авдотью с четырьмя детьми и срочно женился на дочери бывшего батрака-прощельги, Коленьки Юдина. Старший его сын, Миша, тогда уже в школу ходил. Кузьма Николаич подождал, когда закончатся уроки, и говорит ему: “Мишка, скажи сегодня матери, что я домой больше не приду”. А он, Миша, тётя Авдотья рассказывала, пришёл: “Мама, тятя сказал, не придёт он больше домой-то...” Авдотья пыталась повеситься, но не дали. А Кузьму Николаича сразу и в учителя взяли, и в партию приняли... Когда отец без работы остался, и мы собрались уезжать в город Юрюзань, где

его брали охранником на оборонный завод, мы решили устроить проводы. Пригласили и Кузьму Николаича с Натальей, всё-таки отец какое-то время в уже семилетней школе работал физруком под его начальством. И не подумали, пригласили Авдотью и её сына Михаила со снохой. И они, Кузьма Николаич и Авдотья с Михаилом, оказались за столом напротив друг друга. Миша сидел-сидел и говорит:

— Эх, у нас ведь мать какая плохая, такая плохая! — и обнимает мать. — А отец у нас такой хороший, четверых малых детей бросил, зато теперь все его уважают, в передний угол сажают.

Так неудобно было, так неудобно — что мы, простофили, не подумав, устроили? Как вспомню, до сих пор неудобно. В то же время: надо же было бросить четверых детей, чтобы учителем поставили и в партию приняли! После войны Кузьма Николаич стал заочно в Месягутово в педучилище учиться. Петя, брат мой, с ним учился. Мы, говорит, по несколько раз пересдаём, а он к преподавателям, ровесникам его, с бутылкой, с кусищем мяса. Смотришь, Кузьма Николаич раньше нас экзамены по всем предметам на отлично сдал...

Отец мой, Андрей Алексеевич Чванов, был из тех 3 процентов призыва 1941 года, вернувшихся с войны. Служивший в 1941 году срочную на Дальнем Востоке, на фронт он поехал в командировку. Была в первые месяцы войны такая практика: старослужащих, отличников боевой и политической подготовки, выдёргивали по одному, по двое из взводов, рот, батальонов сибирских и дальневосточных частей и с командировочным удостоверением отправляли в прифронтовую зону для усиления формирующихся там воинских частей, прежде всего народного ополчения. Хоть немного, но успел хватить лиха отступления, вспоминать об этих днях не любил. Старшим сержантом, командиром отделения связи участвовал в декабрьском наступлении под Москвой. Пулёмётная очередь остановила его путь на Берлин в феврале 1942 года под Юхновым: пуля раздробила локтевой сустав правой руки. Руку ему хирурги спасли, но после ряда госпиталей его списали вчистую, рука на всю жизнь осталась полусогнутой, и мужики шутили над ним:

— У тебя походка, как у Иосифа Виссарионовича, — намекая на сухую руку вождя.

Отец вернулся с войны без единой награды и хоть молчал, но видно было, что переживал это, особенно когда собирались по какому-нибудь случаю фронтовики и начинали вспоминать. Конечно, его, как и всех фронтовиков, наградили медалью “За победу над Германией”, юбилейными медалями, но они не в счёт.

Где-то уже в 70-е годы почтальон, так получилось, что при мне, принесла отцу повестку в военкомат. Отец растерянно крутил её в руках.

— Наверное, на службу призывают, — пошутила мать. — Некому, наверное, служить. Нынешняя молодёжь отлынивает от армии.

Отец тщательно побрился, перед этим долго правил на офицерском ремне опасную немецкую бритву — единственный трофей, который принёс с войны.

Вернулся только к вечеру. Точнее, привезли его в кузове грузовика в стельку пьяным с орденом Красной Звезды на груди.

Потом я его спрашивал: за что?

Отец пожимал плечами:

— Не знаю. Орден никто не обещал, расстрел обещали. Только разве вместо расстрела?..

— Но в наградном листе должно быть указано, за что.

— А ничего там не указано. Представлен, и всё. В военкомате у меня тоже выпытывали, за что, хотя они должны бы знать... Это ещё перед декабрьским наступлением, когда ещё отступали. Собрал нас, человек сто отставших от разных частей, какой-то генерал, фамилии я не запомнил, я оказался старшим по званию. Приказал: удержат дорогу хотя бы три часа до подхода наших частей! За невыполнение расстрел. Записал мою фамилию. Мы продержались пять часов, отбили несколько атак, осталось нас только шестеро... Может, доложили тому генералу, если он сам остался жив, — я подозреваю, что это был командующий 33-й армией генерал Ефремов, который



потом в окружении застрелился, — что мы продержались пять часов, Если только он мог представить — вместо обещанного расстрела...

С отцом у нас с детства были, если можно так сказать, непростые отношения. Сколько я помню, отец пил. Как пришёл с фронта, с тех пор и не просыхал. Он был не то, чтобы запойным. Но если выпивал, не мог остановиться, напивался до беспамятства, и мог валяться около магазина, в котором отоварился, в какой-нибудь канаве по пути домой, не раз ночевал в милиции, и я его стеснялся. Несколько раз мать заводила разговор о разводе, но дальше разговора дело не шло. Помню, он во дворе под поветью собрался вешаться, и я, кажется, уже семиклассник, от отчаяния отхлестал его по лицу вожжами, которые он уже перекинул через перекладину. Однажды нам сообщили, что он, пьяный, замёрз насмерть. Чтобы не лежал на улице, прохожие мужики или собутыльники затащили его в ближайшую котельную, и кто-то из них пришёл известить мать о его смерти. А он через несколько часов оттаял у раскрытой топки и своими ногами пришёл домой. И не то, чтобы воспаление лёгких, даже не чихнул, не кашлянул после этого. Видимо, здоровьем был в своего деда, Степана Тимофеевича. Но сколько можно было измываться над своим организмом! В конце концов, туберкулёз лёгких он всё-таки заработал.

В 1992 году мне позвонила сестра Вера:

— Отец в больнице. Рак. Приезжай. Не тяни, можешь не успеть.

Время было лихое. Страной снизу до самого верху верховодили лихие люди. Сейчас некоторым из них, вроде Ельцина и Собчака, ставят памятники, и открывает их за их “заслуги” перед Россией непременно президент страны. Помню, в больнице приватизировали даже простыни, отец сидел на голом матраце, а я — напротив, на голой панцирной кровати даже без матраца. Оба молчали. Говорить было не о чем, между нами стояла прежняя отчуждённость и смерть, и оба мы были Чвановы, не склонные к сентиментальности, хотя в отношении меня моя бабушка, Лукерья Ивановна, была другого мнения. Я, было, уже собрался уходить, как отец остановил меня:

— Погоди!.. Присядь!.. Я знаю, что перед вами виноват. А перед тобой особенно. Наверное, я давно должен был это рассказать, но что-то меня останавливало. Это мучило меня всю жизнь. Оттого я, может, и запил. Случилось это в том бою, за который, может, мне расстрел заменили орденом. Выскочил на меня во время атаки из-за шоссе насыпи немец со шмайссером, а у меня винтовку то ли от волнения заклинило, то ли ещё что. Ему бы полоснуть по мне очередью, а он, увидев меня перед собой, словно растерялся. А я воспользовался его замешательством и... штыком его. А он оседает и хрипит: “Брудер...” А меня трясет всего. Это был первый убитый мною немец. И, может, единственный, потому что в других случаях я стрелял издалека в наступающую цепь. После того как подошли наши танки, я не вытерпел, пошёл к убитому мной немцу. А со мной студент из московского народного ополчения. Смотрит на него, на меня: “Надо же, — говорит, — вы похожи, как родные братья”. А я говорю, что уже на штыке, умирая, немец выдохнул: “Брудер...”. “Брат”, — перевёл студент...

Отец вдруг заплакал навзрыд. Я в жизни не видел, чтобы он плакал, тем более — так.

— Ну и что? Мало ли, кто на кого похож! — пытался я его успокоить.

— Как ты знаешь, отец мой, дед твой, Алексей Степаныч, в Первую мировую войну попал в плен. Его взяла к себе из концлагеря в работники бауерша, у которой муж погиб у нас на Восточном фронте: ухаживать за лошадьми, коровами. Бежал, поймали. Бежал второй раз, снова поймали. Она спасла его от расстрела, снова забрала:

— Рано или поздно война закончится миром, ты мужик работающий, любишь лошадей, будешь у меня управляющим. А у тебя в стране революция, ничем хорошим она не кончится.

А у него все мысли о доме. И застучала она его за тем, что нашла мешок в сарае, где он готовил продукты на новый побег. Тогда она сама собрала его в дорогу, какую-то справку сготовила, что отправляет его в командировку по хозяйственным делам, и отпустила с Богом: “Катись ты в свою Россию!” — сказав на прощанье, что она беременна от него. И ударило меня тогда, что я заколол штыком своего брата. Все эти годы эта мысль не выходила у меня из головы.

Наверное, впервые в жизни я крепко, по-сыновьи обнял отца, наконец, остро почувствовав с ним неразрывную смертную связь, и тоже не смог удержать слёз. Наверное, я должен был его убеждать, что этого не могло быть. Во-первых, была ли она беременна, а, сказав о беременности, не пыталась ли таким образом удержать его? Во-вторых, если она была действительно беременна, у неё могла родиться дочь. А в-третьих: ни по какой теории вероятности из многих миллионов случаев не могло быть, чтобы вот так встретиться один на один на смертном поле. Впрочем, оба мы знали о случившемся с нашими дальними родственниками, когда отец в Первую мировую войну, а сын во Вторую погибли на одном и том же поле. Да, наверное, я должен был его успокаивать, убеждать, что такого никак не могло быть, но какой-то горький ком, который я никак не мог проглотить, застрял у меня в горле, и я ничего с ним не мог поделать...

Не успел я доехать до дома, как пришлось ехать обратно. Отец умер через день после моего приезда. Получалось, что в прошлый мой приезд он дождался меня, чтобы исповедоваться передо мной. К месту сказать, привезут его, умершего, домой опять-таки, как раньше в случае с Красной Звездой, в кузове грузовика, потому что санитарные машины в больнице были приватизированы в первую очередь.

Перед похоронами я заказал поминальный обед в соседней с кладбищем столовой. Она, по-видимому, и существовала-то за счёт поминок. Когда мы после предания тела отца земле пришли в столовую, оказалось, что почти все места за столами были уже заняты. Я, было, решил, что ещё не закончились предыдущие поминки, и собрался выйти, но заведующая столовой остановила меня:

— Вы уж извините! Вот так каждый раз. Ничего с этим не можем поделать. Пока родственники на кладбище, они занимают за столами все места, и не выгонись. Некоторые из стариков, можно сказать, за счёт этого и перебиваются, безработные сыновья пропивают их пенсии.

Я присмотрелся: кроме классических бомжей, опрятно и согласно похоронному этикету одетые в тёмное старушки и старики, ровесники отца, некоторые, может, даже его собутыльники, опустил глаза, ждали решения своей судьбы. Дядя Петя, брат матери, стал, было, возмущаться, я остановил его.

— Пусть помянут! Мы заедем в магазин, во дворе соорудим столы, дома помянем.

Я низко поклонился застолью:

— Спасибо, что пришли! Помяните старого солдата. Многие из вас знали его лично, может, даже дружили с ним.

И, глотая слёзы, вышел наружу, судорожно хватая ртом воздух...

### Лекандрин дол

Дед Лекандра Чванов был нашим соседом слева. Он был нашим дальним родственником. Хотя в деревне дворы по обычаю и по бедности разделялись частоколом, а то и пряслом — доски были роскошью, — наши дворы разделял высокий плотный дощатый забор, который соорудил дед Лекандра, потому что враждовал с моим отцом, почему-то называя его Волком. Причин я не знаю, а теперь кого спросишь?

Дед Лекандра был мощный и мрачный старик с густыми чёрными бровями, смоляной лохматой бородой и пронзительным взглядом, и его побаивались не только мы, ребяташки. Можно сказать, что у него в обличье было что-то от цыгана, если бы не знать, что его бабка по матери была башкиркой, такое, хоть и редко, бывало, когда первые переселенцы на уральские заводы, приписные крестьяне, из-за нехватки русских невест женились на башкирках.

Как вы уже поняли, никаких отношений мы с дедом Лекандрой не поддерживали, хотя за его рано умершим сыном Николаем была замужем сестра моего отца, тетя Анна, дом которой был напротив деда Лекандры. Впрочем, ни с кем на нашей улице, которая в старину называлась Красной, а теперь, разумеется, Социалистической, он не поддерживал никаких отношений.

Его огороженный плотным забором двор был для нас, ребяташек, полной тайной. Ни один из нас не решался залезть в его огород за сараем, хотя по

ночам мы запросто шастали по другим огородам в поисках огурцов, хотя своих было навалом, и, даже проходя по улице мимо, если он сидел на лавочке, торопливо, словно виноватые, опускали глаза. Я даже боялся с ним поздороваться. Да не только мы, мужики, поздоровавшись и не получив, как правило, ответа, торопливо проходили мимо, потому что в спину или прямо в глаза могли услышать от деда Лекандры, что тот о них думает. И даже внучата, что жили напротив, ходили к нему неохотно, он не очень привечал их.

Дед Лекандра был единственным на нашей улице, а может, во всей деревне, единоличником. Его пытались сломить угрозами, непомерными налогами, не давали сенокоса и делянки на дрова, но он до последнего часа своего так и не сломался, косил воровски по ночам, так же, воровски, по ночам заготавливал дрова, лесники и полевые объездчики то ли действительно не могли его поймать, то ли сочувствовали ему. И держал лошадь, и не просто лошадь, а добротного коня, и огород в тридцать соток, когда уж по хрущёвскому указу разрешалось только пятнадцать. Была тут какая-то тайна, почему его не загребли, в отличие от других, которые за меньшую провинность перед народной властью “пошли по жизни”, так в народе называли поход в тюрьму или в концлагерь. Правда, его забирали сначала в 30-м, потом в 37-м, вспомнили, что добровольно служил у Колчака, но в первом случае через год, а во второй через два года вернулся, ещё более злой. И всё равно решительно отказался идти в колхоз: “Ни в жисть с голопузыми бездельниками! Нормального-то мужика вы по тюрьмам да по ссылкам сгноили”. Вон дядю Еремея, переводчика в полководце через буйную Юриозань около башкирской деревни Казырбак — в другое время её можно было переехать по перекату на телеге, — на 8 лет в Черемхово, в шахты, отправили, определив в японские шпионы. От западной границы до Урала обычно определяли в английские и немецкие шпионы, а что за Уралом — в японские. Определили только за то, что во время всенародных выборов товарища Сталина в непогоду — дождь со снегом — с задержкой подал паром торопящимся на всенародные выборы ответственным районным начальникам и при этом неосторожно матюкнулся: “Нормальные люди в такую непогоду дома сидят и других, когда всё без выборов ясно, пустые бумажки в ящик бросать не гонят”. Да ещё говорили, что легко отделался, а то мог бы запросто получить 10 лет “без права переписки”, что на самом деле означало расстрел. А дед Лекандра принародно крыл матом то и дело навещавшихся к нему разного сорта уполномоченных, и всё ему сходило. А однажды в сердцах, видя, как угробили колхозники урожай, потому как вместо того, чтобы воспользоваться выдавшейся хорошей погодой для уборки хлебов, ждали распоряжения райкома, а потом, когда распоряжение пришло, пошёл мокрый снег и положил пшеницу так, что комбайном её уже было не взять, бросил в глаза очередному уполномоченному: “Эх, башкиры, в гражданскую открыли фронт, переметнулись к большевикам, свободу от русских те им посулили, теперь, кто жив, наверное, локти гложут. Не смогли мы с Александром Васильевичем, царствие ему небесное, в корне изничтожить эту сатанинскую власть”. Действительно, какая-то тайна за этим стояла, другим за такие слова не сносить бы головы.

Каждое воскресенье рано утром дед Лекандра седлал коня, жена его, маленькая сухонькая безропотная старушечка, стояла у седла, подавала ему чистую рубаху, он, надевая её, по-молодецки выпрямлялся, взгромоздился в седло и неторопливой рысью выезжал со двора. Беда была тому, кто по неведению спрашивал, куда он едет, редкие решались на это по хитрости, потому что знали, что он обложит спрашивающего матом, ответил в конце: “Каково твоё сучье дело?!” Дело в том, что почти все знали, куда он едет: навестить свою бывшую землю, в своё время, после отмены крепостного права, купленную его дедом у башкир, которая, давно колхозная, до сих пор в народе так и называлась — Лекандрин дол. Красивый был дол, с родничком в голове, обрамлён по бокам березняком с калиновыми и рябиновыми кустами. Возвращался дед Лекандра оттуда обычно к полудню галопом, — на взмыленной лошади, с пеной у рта, и тут уж совсем не стоило попадать ему на пути, — он мог и кнутом огреть. Жена его уже давно ждала этой минуты и заблаговременно открывала настежь ворота, потому что, замешкайся

только — тоже могла получить кнутом. И по двору долго ещё был слышен его голос: “Голопузые, бездельники, опять угробили урожай, сначала опоздали с посевом, теперь время уборки упустили, по снегу убирать будут!” Мы, соседи, даже боялись ходить открыто по своему двору — он мог накинуться, обматерить ни за что и через свой высокий забор. Старушечка его становилась ещё меньше, и даже куры торопливо прятались под амбар, и красавец-петух не показывал носа — всё замирало на дворе деда Лекандры. Только к вечеру он появлялся на крыльце, вокруг него ворковала жена. Но он молчал, пинал подвернувшиеся под ноги вёдра, и только потом, когда спрашивал: “Свинью накормила?” — или: “Ужин готов?” — старушечка решалась заговорить, начинала суетиться по хозяйству, из-под амбара решались выбраться на её зов куры, но на середину двора ещё не выходили, жались по углам.

Но работник дед Лекандра, несмотря на возраст, был отменный. Я никогда не видел, чтобы он что-нибудь не делал: не чинил ли конскую сбрую, не поправлял ли изгородь в огороде, не плёл ли из ивы короб или гнёзда для гусей, не пилил ли дрова один двуручной пилой. Только вечером он мог позволить себе посидеть за самоваром у распахнутого на улицу в черёмухи окна или на скамеечке под теми же черёмухами.

А черёмухи у него в палисаднике перед окнами с резными наличниками, которые были редкостью в нашей деревне, были самым пышными на улице. И когда они уже у всех стояли обломанными шпаной или ухаждёрами, у него они блаженно доспевали, и он собирал с них несколько вёдер ягод, которые потом старушечка сушила, чтобы зимой печь пироги. Только Лёнька Изместьев, рисуясь перед девками, однажды решил взобраться на изгородь, чтобы наломать гнущихся под тяжестью ягод веток, но тут же кулём свалился обратно, вытащив из кустов на руке змеёй обвивший её длинный кнут. Он уже второй год шоферил и несколько дней после того не мог завести машину — так болела рука, просил кого-нибудь из соседских парней или мужиков покрутить рукоятку.

Да, дед Лекандра был работник отменный, можно сказать, круглосуточный. Но была у него слабость. Раз в году он позволял себе праздник. Это было в пору, когда покос уже закончился, а уборка ещё не начиналась, хотя убирать в поле ему было нечего. В этот день, наверное, единственный день в году, когда на его лице можно было увидеть улыбку. Он надевал старые брезентовые штаны, длинную холщовую рубаху, подпоясанную мочальной верёвкой, в этот день улыбалась и старушечка, она суетилась вокруг него, собирая ему немудрёную котомку в дорогу.

Затем он выбирал из приставленных к повети жердей жердину длиной и толщиной с оглоблю, насаживал на неё острогу, заряжавшую за год, обувался в лапти, хотя обычно ходил в сапогах, натягивал на голову войлочную шляпу — только она была из каждодневной одежды, — забрасывал за спину полупустой мешок, на плечо — острогу и выходил на улицу. В эту минуту он мог заговорить даже с моим отцом. В этот день с ним мог поздороваться любой, и он обязательно ответит... По крайней мере, промолчит на приветствие людей, которых особо презирал.

— Здравствуй, Лекандра Николаевич! — почему-то заискивая, приветствовал его даже самый бесстрашный фронтовик

— Здорово! — неожиданно улыбнётся дед Лекандра.

— Куда это? — как бы не догадываясь, куда, спросит мужик.

— Да вот, аль не видишь, — перебрасывал он с плеча на плечо острогу, — дома всё слава Богу, сена накопил, потешиться немного, рыбки старухе захотелось.

По проулку он спускался к реке Юрюзани, что в переводе с башкирского — быстрая, таковой она и была, особенно на перекатах; к низу нашего огорода, чем ближе к реке, тем шёл быстрее, чуть не бежал. Не останавливаясь, забредал в воду, крестился и, встав лицом вверх по течению, чтобы сплывала вниз муть, поднятая ногами, осторожно под водой отворачивал своей гигантской острогой первый камень, — под камнями жили налимы. И так, начиная от бани вдовой снохи Анны, он уходил всё дальше и дальше вверх по течению. Несколько часов его ещё можно было видеть с нашего огорода, да и с улицы, что было причиной оживлённых разговоров.

— Никак дед Лекандра в реке-то? — спрашивал кто-нибудь, заведомо зная, что в реке именно он.

— Он. Кто ещё с такой жердиной!

— Дак это даже не жердина, целое бревно.

— Знать, ещё есть сила.

— А кто его знает. Может, через силу, в последний раз. Зимой-то, бают, совсем помирал. Детей телеграммами вызывали.

— Детей-то вызвали, на лавку под иконами положили, руки на груди скрестили. Сели около него вокруг стола, а он слушал, слушал, как они делят нажитое, сметану, масло без меры едят, вдруг встал, да и разогнал всех красным словом: “Собрались на дармовщину, добро делить!” Потом взгромоздился на коня и в свой Лекандрин дол. Так и ожил.

А дед Лекандра тем временем всё выше и выше поднимался по реке, пока не скрывался за первым островом.

И как только он скрывался за островом, ворота больше уже не закрывались у Лекандрينو старухи. Первыми прибежали полуголодные внуки, что жили напротив, дети тети Анны, которых он не очень-то после смерти сына привечал. Старуха торопливо ухала в печь чугуном с кашей, выставляла на стол старое сало, сметану. Внуки терпеливо сидели вокруг стола на крашенных скамейках. Тайком от них — не дай Бог, проболтаются! — она отсыпала снохе отрубей, пшена, ещё чего-нибудь, даже если заметит Лекандра потом, вернувшись с рыбалки, а без рыбы он никогда не возвращался, — промолчит, делает вид, что не заметил.

Потом, осторожно поглядывая вверх по реке, приходили её подруги-старухи, вели за чаем долгие разговоры. Все шесть окон на улицу в этот день были распахнуты, и, если кто шёл мимо, если даже не видел ушедшего за остров деда Лекандру, знал по распахнутым настежь окнам, в чём дело.

Уходя, дед Лекандра объявлял, что уходит на три дня, но не было такого случая, чтобы возвращался раньше времени. Обычно он возвращался на четвёртый день к вечеру. Но всё равно на третий день в доме воцарялась тишина ожидания — колодец у них был во дворе, и за весь день тяжёлая, окованная железом калитка, врезанная в ворота, ни разу не открывалась.

Но и на четвёртый день дед Лекандра мог и задержаться, если не везло с рыбалкой или, наоборот, очень везло. Спал он на берегу у костра прямо в мокрых штанах и рубахе, так как никакого сменного белья с собой не брал. Он вообще с собой ничего не брал, кроме сухарей и соли. Порой дед Лекандра возвращался на пятый или шестой день, за это время он уходил по реке километром на пятнадцать-двадцать, — за плечами был набитый битком мешок с налимками, переложенными крашмой, чтобы не запахла, поверх была привязана острога, уже без богатырского бревна, и сам он, вымоченный в воде, становился как бы светлее, как бы вода съедала немного черноту с его лица.

А однажды он вернулся только на девятый день. Бедная старушечка уже не знала, что делать: то ли ещё ждать, то ли снова отбивать телеграммы сыновьям, живущим в старинных уральских городках, Симу и Юрюзани, работающим там на секретных военных заводах. Уже стали собирать поисковую экспедицию, гадая, что могло с ним случиться, как он, наконец, появился в конце улицы. Оказывается, река от горных дождей прибыла, помутнела, и он выжидал, пока она снова посветлеет, потому как не мог он возвращаться домой без рыбы.

Только однажды он вернулся на второй день — в разгар большого и жаркого старушечьего чаепития. Он неожиданно, чёрный, со смоляной бородой, вырос на пороге — и старушечки все обомлели, не говоря уже о его старушонке, которая чуть не упала в обморок.

Несколько мгновений стояла зловещая тишина — чашки застыли у ртов, сладкие шанежки остановились в пищеводах.

— Эж, как на дармовщину-то сбежались, старые крысы. — Дальше шло уже непередаваемое. Старушечки, как серые мыши, одна за другой стали прощмыгивать мимо него, а он крыл и крыл их по очереди красным словом, а последней даже дал кнутовищем под давно усохший зад.

Его старушечка прижалась в углу, как нечаянно залетевшая в дом и обомлевшая от страха синица.

— Чуть из дома, как добро по ветру? — Дед Лекандра стал подбираться к ней из-за стола, на ходу расправляя кнут, но та юркнула вокруг стола; настигая её, он споткнулся, перелетел через скамейку и растянулся по полу, но перед тем всё-таки успел задеть её кнутом, и две ночи она ночевала по чужим баням.

Оказалось, пока он спал у костра, кто-то стащил у него острогу.

Обычно после возвращения деда Лекандры с рыбалки несколько дней вокруг его дома витал рыбий дух — рыба жарилась, варилась в ухе, пеклись пироги... Ради справедливости надо сказать, что треть мешка выделялась снохе с её ребятей.

После рыбалки деда Лекандру, как правило, хватало “рематизм” — он днями пластом лежал на протопленной по этому случаю русской печи, куда забирался с трудом, через день топилась баня, бедная старушечка чуть ни таскала его туда на себе. Тут наступало её время: недели полторы по причине “рематизма” он был беспомощным, и она начинала поднимать на него голос, покрикивала, натирая скипидаром и мёдом, называла старым дураком, а он лишь угрюмо молчал.

Где-нибудь к концу второй недели он выбирался в валенках на скамейку перед воротами и часами сидел на ней, угрюмый и мрачный, молча наблюдая за жизнью улицы, но никаким образом не участвуя в ней. А старушечка пилила и пилила его, пока в один день он не прикрикнет на неё: “Цыц, бесхвостая! Знай своё место” — и она сразу притихала до следующей рыбалки, до следующего “рематизма”, а он снимал валенки и врубался в работу.

И жизнь снова входила в обычное русло. Умирили старые люди и не совсем старые, и спившиеся молодые, что теперь почему-то не было редкостью в нашей деревне, хотя жизнь заметно наладилась, рождались дети, и казалось, что только деда Лекандру не брало время, даже не седела его борода.

Но вот пришло время, когда дед Лекандра серьёзно занемог, третью неделю не вставал, не ел, только просил холодного квасу.

— Дед Лекандра совсем плох, — прошелестело по деревне.

Помня прошлый раз, телеграммы боялись посылать, ждали. Докатилась весть и до сыновей, потому что и у некоторых других мужиков сыновья работали на тех самых заводах, крепили оборону страны, другие охраняли границу, а страна тихо изъедалась плесенью изнутри. Сыновья, не дожидаясь телеграмм, один за другим приехали.

Снова сидели за столом, время от времени проверяя, дышит ли.

Услышав множество голосов полусёпотом, словно хотят от него скрыть какую-то тайну, он вдруг напрягся всем телом, открыл глаза, долго смотрел в потолок, словно не понимая, где он и что с ним, потом сел, обвёл застолье мутным взглядом, наконец, понял, что к чему, и зашёлся густым матом:

— Опять собрались меня хоронить, добро делить?!

Разогнав ближних и дальних родственников, как лежал в исподнем, так как ещё не одевали в смертное, шатаясь, вышел во двор, вывел из-под навеса коня, с трудом забросил на него седло, подвёл к высокому крыльцу, с которого трудом взгромоздился коня, — и заорал не поймёшь на кого, на жену ли, или на сыновей:

— Что разинули рты, открывайте ворота!

Ждали его долго, не знали, что делать, решили пойти к Семёну Томилину, чтобы он кого-нибудь из сыновей подбросил на мотоцикле до Лекандрина дола: искать был смысл только там.

Но, наконец, он сам появился в конце улицы, завалившись набок и назад, голова моталась, кулём свалился с лошади, хорошо, что подхватили сыновья, завели его под руки в дом и положили не на лавку под образа, а на кровать, на которой он зачинал их, и он забылся тяжёлым сном с храпом, хотя обычно не храпел.

А вслед за ним пришёл слух, что в его долу, который теперь был колхозным, он отстегал кнутом тракториста за плохую пахоту, заодно и бригадира, который пытался его остановить, а уполномоченного, который оказался некстати тут, назвал краснопузым упырём...

Ну, теперь точно быть бы суду, на этот раз точно бы не обошлось, уполномоченный был из приезжих, и даже председатель колхоза побаивался его,

но на второй день, когда сыновья снова разъехались по своим заводам крепить оборону страны, дед Лекандра тихо, не приходя в сознание, помер...

## Фёдор

У моего деда по отцу, Алексея Степановича, был брат Леонтий. Всё было, как у всех в деревне: пришло время, отец Леонтия, Степан Тимофеевич, женил его, выделил в самостоятельную жизнь, определив на расплод жеребую кобылу, корову, которая тоже вот-вот должна была отелиться, несколько овец, свинью, всякую мелкую живность, деревенской помочью поставили пятистенный дом. Словом, всё, как у всех. Жена была красавица, работающая, певунья, но случилось такое несчастье: то ли по его беде, то ли по её, семья оказалась бездетной. Это сейчас за беду не считают, а некоторые, может, даже считают за счастье: волготная жизнь без детей! А по старости государству на шею. И потому нас, русских, всё меньше и меньше на свете, и рано или поздно можем совсем перевестись. А в старину это считалось большой бедой, Божьим наказанием. Только вот Леонтию за какие грехи?

Ушёл Леонтий в армию, и оказалось, как раз приспел к войне, которую потом назовут Первой мировой. Вернувшись даже не раненным, Леонтий обнаружил прибавление в хозяйстве: лошадей было уже четыре, коров — три, а о мелочи уж и говорить не приходилось, такая хозяйственная оказалась жена; понятно, что во всём помогали родственники с той и другой стороны, но другой — помогай не помогай, всё было бы, как вода в решете.

И тут произошёл такой случай. На беспокойство деревне остановился за околицей на какое-то время, а может, на всё лето цыганский табор. И оказался в том цыганском таборе прилудный русский мальчишка-сирота лет шести-семи, раз в день побирושкой обходил он деревню. Приглянулся он Леонтию: ласковый, русоволосый, как он сам. Не просто кусок хлеба за ворота ему выносил, а зазывал в дом, кормил тем, что сами ели. И зародилась у Леонтия мысль усыновить его, но не решался жене сказать. И вдруг Арина сама ему: давай усыновим? У него даже слеза приступила, когда она это сказала.

Ждали они на следующий день с нетерпением Фёдора, а он пришёл только через день.

— Пойдёшь к нам в сыновья?

— Пошёл бы, но только не отдаст меня цыганский барон. Я не просто хожу по дворам, милостыню собираю, я высматриваю, где что лежит, цыганят-то бояться, все от них прячут, а меня, наоборот, привечают.

Пошёл Леонтий в табор к цыганскому барону, уверенный, что скоро договорится, чужой мальчишка в таборе только в обузу, а тот, к его удивлению, ни в какую. Тогда предложил деньги. А барон:

— Деньги — словно вода... Потом нехорошо православному покупать за деньги человека. Рядиться не будем, у меня будет такой ответ: отдай за Фёдора твоего гнедого жеребца. — Когда только высмотрел! — Надумаешь, приходи. Я мыслю так: если тебе нужен батрак, цена за батрака непотребная — не придёшь, а если действительно в сыновья, тогда твоя Гнедой — красная цена. Только не тни. Через день-второй мы снимемся.

Вернулся Леонтий домой печальный. Гнедой встретил его радостным ржаньем, уважали они друг друга. Гнедому цены не было. По общему деревенскому договору Гнедой был на особом счету: Леонтий держал его не для работы, а для того, чтобы он обслуживал всех деревенских кобыл, поддерживал породу. И потому, хоть он был свой, собственный, кроме жены, надо было обговорить этот вопрос с мужиками. Мужики сделали такой приговор: “Ты хозяин, тебе решать, в сыновья — дело святое, обойдёмся как-нибудь и без Гнедого, вон у Трофима жеребец от него набирает силу”.

Ударили с цыганским бароном по рукам.

— Не переживай, всё равно я его у тебя увёл бы, — стал успокаивать Леонтия барон. — План у меня такой был после того, как снимемся, и никакая полиция его не нашла бы. Только предупреждаю: если Фёдор убежит ко мне, он уже привык к цыганской жизни, я тебе Гнедого не верну.

Первое время Леонтий с Ариной не спускали с Фёдора глаз. Он заметил это.

— Отец, мать, если я хотел бы убежать, я давно бы убежал. Я полюбил вас.

Фёдор рос смышлёным, крепким мальчишкой и, казалось, чем дальше, тем больше походил внешне на Леонтия, только к 14 годам почти на голову стал выше его. В деревне шутили: “Может, чего-то скрываешь? Может, на самом деле твой сын?”

Время летело. Стала забываться гражданская война, самые жестокие и решающие бои Восточного фронта прошли в окрестностях Старо-Михайловки.

Вроде бы стала налаживаться жизнь. Но не прошло и десяти лет, как большевики обрушили на Россию очередное лихолетье, на сей раз в виде поголовной коллективизации сельского хозяйства: сначала пообещали землю в семнадцатом году, а теперь решили забрать её обратно. Разумеется, не обошло это лихолетье и Старо-Михайловку. А Старо-Михайловкой деревня стала называться с тех пор, когда по столыпинской реформе выделились из первоначальной Михайловки два хутора, которые основали братья моего деда. Тесно им стало в Старо-Михайловке. Один хутор назвали Надеждинским — в надежде на лучшую жизнь, много тогда в стране было основано хуторов с таким названием, другой — Ново-Михайловкой. И эти хутора попали первыми под нож всеобщей коллективизации сельского хозяйства, и первыми их жители были отправлены семьями под Иркутск, в славный город Черемхово, за колючую проволоку, в шахты. А за ними туда по проторённой дорожке потянулись другие Чвановы и не Чвановы из Старо-Михайловки.

В 80-е годы прошлого века в доме творчества писателей в Дубултах в Латвии я познакомился с драматургом иркутянином Михаилом Ворфоломеевым.

— У нас в Черемхово много Чвановых, — при знакомстве сказал он. — Потомственные шахтёрские семьи. Случаем, не родственники?

— Случаем, родственники, — уверенно и с гордостью сказал я. — Ближние и дальние родственники.

Дошла лихая очередь и до Леонтия. В колхоз, хотя и был середняком, он вступить решительно отказался, тогда его приёмного сына большевики определили в батраки, а Леонтия соответственно определили в эксплуататоры трудового народа, подлежащего изъятию из общества. И поехали Леонтий с Ариной по проторённой дорожке в то же самое Черемхово. Их пятистенный дом определили под сельсовет, а Фёдора как пострадавшего от эксплуататора трудового народа выбрали заместителем председателя сельсовета.

Но Фёдор через несколько дней ночью бежал из деревни в Симской завод — так в простонародье называли город Сим. Это было обычной практикой в то время, многие так избегали ссылки или лагеря: перед раскулачиванием бросали свои дома, хозяйства и ночью бежали на уральские заводы. Как правило, там их не искали, а зачем искать, без всяких хлопот решались две стратегические задачи строительства социализма: даром доставался дом, скот, а на заводах ощущалась острая нехватка рабочих, получалась как бы бесплатная вербовка рабочей силы.

Через четыре года после ссылки Леонтия с Ариной в Старо-Михайловку наведались милиционеры. Оказывается, после смерти жены, которая не выдержала ссылки, Леонтий бежал из лагеря. Спрашивали, не появлялся ли в деревне, все дружно говорили, что не видели. Несколько раз наведывалась милиция и к Фёдору в Симской завод, и он говорил, что не видел. В конце концов, перестали наведываться: то ли поймали Леонтия и опять закрыли за колючую проволоку, то ли он умер в бегах.

Фёдор, у которого оказались золотые руки, быстро освоил рабочую профессию, женился, заочно закончил техникум. На выделенную заводом ссуду поставил дом, его фотография постоянно висела на заводской и городской досках почёта, со временем стал начальником цеха, только вот никак не хотел вступать в коммунистическую партию, отнекивался, что недостойн.

И вот в середине 60-х годов в Симском заводе произошёл такой случай. На параллельной улице на задах у Фёдора в доме, с которым дом Фёдора соседствовал огородом, умер одинокой безродный старик. Жил и жил, в своё время откуда-то приехал, купил этот пустовавший домик в два окна на улицу, а потом получилось, что через какое-то время на задах его на параллельной



улице поставил свой дом Фёдор. Бани у старика не было, ходить в общественную баню далеко, и Фёдор, однажды столкнувшись со стариком на огородах на посадке картошки, при соседях предложил ему мыться после его семьи в его бане, а после бани заходить на чай...

Не знали, кому хоронить. Почти уже решили, что по-соседски вскладчину, как пришёл Фёдор Леонтьевич Чванов в чёрном костюме, который надевал только по торжественным случаям, при галстукке и сказал, что хоронить будет он, потому что умерший — его отец, и настоящее имя его Леонтий Степанович Чванов.

Оказывается, после побега Леонтия из лагеря в Старо-Михайловке, где он несколько дней скрывался на горе Сосновке, верные люди сказали ему, где искать Фёдора. Ночью он пришел к Фёдору в Симской завод. Фёдор отвёл его к отцу друга по цеху, пасечнику, где он какое-то время жил в помощниках как дальний родственник. А Фёдор тем временем каким-то образом сумел сладить ему паспорт и купить стоявший заколоченным после смерти хозяев домик. А сам со временем поставил дом на пустыре позади его на параллельной улице. И раз в неделю, по субботам, они после бани вместе чаёвничали.

### Родник Трёхглавый

Деревня Ералка — всего 16 дворов — лежала в девяти километрах северо-восточнее Старо-Михайловки, за рекой Юрюзанью, недалеко от татарского села Насибаш, в широкой долине, меж невысоких южноуральских увалов, в середине июля покрывающихся красным покрывалом спеющей клубники, потому эти увалы жителями Ералки и названы были Ягодными горами. Деревню же Ералкой назвали основавшие её в 1883 году переселенцы, в том числе мои предки, только теперь уже по матери, из деревни Ерал того же Симского завода. Но почему-то по всем официальным документам и по Всероссийской поземельной переписи 1917 года она проходит как Остроумовка — по девичьей фамилии матери Игоря Васильевича Курчатова, Марии Васильевны Остроумовой, дочери приходского священника Миньяра, до замужества работавшей учительницей церковно-приходской школы. То ли она, то ли её отец раньше моих предков арендовали эту землю у башкир деревни Мусатово? Получается, что и по материнской линии я имею, пусть и косвенное, отношение к семье Курчатовых. Землю ералцам мусатовцы сдали в аренду с условием: не держать в деревне свиней, потому как они якобы по своей привычке всё копоть могли осквернить могилу тархана, кантонного начальника, находящуюся от Ералки по прямой в семи километрах.

Как правило, я проводил в Ералке лето — у деда по матери, Летанина Филиппа Григорьевича, который был колхозным пасечником и держал с десятков своих ульев. Помню, на сенокосе, мне было года два, хотя по всему не должен помнить, может, позже мне рассказывали, и я нарисовал в воображении эту картину. Но мне кажется, что я хорошо помню кривую берёзу на краю поляны, чёрное отверстие под ней, которое меня привлекло, ко мне навстречу выбежали щенки, я стал играть с ними, один из них поцарапал мне лицо, я заревел, прибежала бабка, а это оказались волчата, волчица была где-то рядом. Ещё помню, мне было уже года четыре, дед, взяв меня с собой на пасеку, готовил в избушке рамки для улья, а я сидел на крыльчке на солнышке, вдыхая густой аромат цветущей липы. Вдруг увидел, как, сломав прясло ограды, на пасеку зашла корова, в высокой траве была видна только её бурая спина. Я, взяв хворостину, решил, не отвлекая деда от дела, сам прогнать её. Я уже был близко к ней и стал кричать на неё, как услышал за своей спиной оглушительный выстрел. Корова подняла голову от улья и оказалась огромным медведем.

Сколько помню, дед мучился сердцем, сказывалась и Первая мировая война, на которой он был тяжело ранен, а в другой раз тяжело контужен: немецкий снаряд взорвался рядом, его с головой забросало землёй, успели откопать, и война гражданская. И так как он во всём любил обстоятельность и, чтобы в случае смерти никого особо не утруждать, лет за десять до своей смерти он соорудил себе гроб из отборных сосновых досок. Он стоял

на повети между амбаром и конюшней, аккуратный, ни щёлочки, словно лодочка, вылизанный рубанками разных калибров и наждачной шкуркой, спокойно ждал своего часа, уверенный, что хозяин его не проскочит мимо него.

У деда, единственного в Ералке, был ламповый радиоприёмник, он скрупулёзно следил за внутренней и международной обстановкой, и мужики приходили к нему, чтобы узнать, что творится в стране и в мире. Он приезжал к нам в Старо-Михайловку не столько в гости, сколько в магазин, чтобы купить вместо севших новые аккумуляторные батареи.

— Жили в деревеньке в основном дружно, — мне, уже не просто взрослому, а с седой бородой, рассказывала мать. — Но, как говорится, в семье не без урода. Взять Егорку Калинина, что жил через дом от нас. Дурачка до поры до времени из себя корчил. А как случилась революция, словно скипидаром ему одно место намазали, гоголем заходил. Живи он где-нибудь в городе или при заводе, непременно революционером бы стал. Очень ему нравилось чужое добро считать. Нищета, не по нужде, а по крайней лени. В коллективизацию он вместе с куркинским Корнеевым, как отличился! Вот, думаю, перед такими вертопрахами оказываются бессильны нормальные люди? Словно Сатана приставляет их к каждой деревне, а Бог уже бессилен перед ним?

По колхозным и общественным делам собирались около большого камня-валуна напротив дедовского дома, но истинным центром деревни был родник Трёхглавый, хотя он и был за околицей метрах в четырёхстах от деревни. Селиться рядом с ним, видимо, не решились из уважения к нему и из-за его мощного шума, похожего на шум сильного ливня. Голову родника в неглубокой котловине скрывали кучи черёмухи и ольхи. Три каменных жерла выбрасывали три мощных потока студёной хрустальной воды, окутанных таким же студёным туманом. Сливаясь в один, они тут же впадали в небольшую речку Лазю, которая выше по течению основателями Ералки была названа Иволганом, потому что в её чернолесье гнездились иволги, удивительно красивые птицы с райскими голосами. Лазя была единственной не только в ближайшей округе речкой, в которой жила редкая рыба форель-пеструшка. Каким было наслаждением выпросить у бабки горбушку чёрного хлеба — о существовании белого мы даже не подозревали, — и с друзьями макать её в студёную струю Трёхглавого выше длинной лиственничной колоды, из которой поили лошадей.

По увалам по обе стороны Ералки, если присмотреться, и по сей день можно обнаружить следы старых окопов. Откуда им вроде бы быть здесь — в такой российской глуши? Вслушиваясь в умиротворяющий шорох трав, вдыхая аромат спелой клубники, трудно представить, что в гражданскую войну здесь проходили самые жестокие и кровопролитные бои Восточного фронта, которые решали судьбу России.

Начальник 26-й дивизии красных Генрих Эйхе в своих воспоминаниях писал: “В относительно небольшом районе в окрестностях деревни Насибаш собралось почти всё, что тайно шло в тыл белым по Юрюзани: 6 полков, 2 штаба бригад, полевой штаб 26 дивизии, несколько дивизионов артиллерии и обозы... обозы... обозы... без конца...”

Участник этих событий с другой стороны, в то время командующий Западной армией белых генерал Сахаров, уже в изгнании, в Америке, в свою очередь вспоминал: “Наша 4-я (Уфимская) дивизия подспела как раз вовремя. Один за другим полки пошли в атаку, перегоняя друг друга, с большим подъёмом, Большевики сначала остановились, задержались, попробовали оказать сопротивление, но затем отпрянули назад и побежали. Я подъехал к уфимцам перед самой их атакой. Никогда не забыть этих серьёзных, открытых лиц, полных отваги и решимости. Их молчаливой и торжественной силы. Я перед полками героев раздал георгиевские кресты солдатам и произвёл в очередной чин отличившихся в прежних боях офицеров. Затем после коротких слов о предстоящем деле полки двинулись вперёд. Громкие, торжествующие крики “ура” разнеслись по полям, когда новые георгиевские кавалеры во главе со своими офицерами первыми пошли в атаку...”

Деревня Ералка оказалась посредине этой смертельной схватки. Моя бабка рассказывала:

— Стала каравай в печь сажать, в это время как грохнет, как грохнет. У меня и хлеб полетел. С мусатовской стороны в сторону Насибаша пушки стреляли. За день несколько раз в деревню сваливались с гор то белые, то красные. И не знаешь, кому что говорить, за белых ты или за красных. А в деревне одни только бабы. Мужики — большинство в белых, кто в красных, кто в лесу, чтобы ни в белые, ни в красные не попасть. Сначала со стороны Насибаша свалились в деревню белые, оборванные, голодные, израненные. Это только в кино они одеты с иголочки чуть ли не в парадных мундирах. Наварили мы картошки, старая ещё в погребках была. Столы из досок прямо посреди улицы соорудили. Только разложили картошку по чашкам с солёными огурцами, как с противоположной стороны, с Ягодных гор — красные. До сих пор перед глазами, как белые, подхватывая винтовки, на ходу давились горячей картошкой. Красные: “Ах, белых кормить собрались?!” Только красные за столы, с насибашевской стороны снова белые. Потом из-за Ягодных гор пушки снова начали стрелять. Снаряды через наши головы летят, так мы в погреба попрятались. Только через два дня утихло. Вылезли из погребов: ни белых, ни красных. Своих убитых красные забрали, а белых нашим старикам пришлось хоронить.

Но отважно-отчаянная атака полков Уфимской дивизии белых, о которой писал генерал Сахаров, уже не могла переломить исход общего сражения за Урал. Кровопролитные бои в районе села Насибаш даже вошли в “Краткую историю гражданской войны” как решающие в судьбе революции: “Победоносно завершившиеся жестокие бои в районе села Насибаш, которые происходили 2–4 июля 1919 года между частями 26-й дивизии и крупными соединениями колчаковской армии, решили исход тылового рейда, являвшегося ключом наступательной операции 5-й армии по овладению Уралом. Тайный выход войск 5-й армии под руководством Эйхе в составе 26-й и 27-й дивизий в тыл белой армии по Юрюзанскому ущелью в корне изменил ход гражданской войны Восточного фронта”. О степени жестокости этих боев говорит тот факт, что за бой за речную переправу через Юрюзань сразу 11 пулемётчиков Карельского полка красных были награждены орденом Красного Знамени, — может, единственный случай такого массового награждения этим орденом в истории гражданской войны.

И я невольно представил картину: русские убивали русских, а кто-то, цель которого — уничтожение России, сверху с циничной ухмылкой наблюдал за этой смертельной схваткой.

Мне было, наверное, лет двенадцать. Мы шли с дедом, — мне казалось, бесцельно, хотя дед куда без цели не ходил, — по увалам выше уже умирающей Ералки. Дед покинет её последним, увозя с собой вместе с пчёлами свой гроб, продав дом в соседнюю деревню Урдалы, и его увезут, не разбирая, зимой на тракторных саях. А сам дед переедет в деревню Ново-Куркино, которая вскоре вслед за Ералкой и Старо-Куркиной тоже погибнет, и могила деда затеряется на чужом заброшенном кладбище в сыром берёзовом логу уже тоже заброшенной деревни Бунаково. Но стоят, как стояли, башкирские деревни Мусатово и Ильтаево, татарский Насибаш, другие башкирские и татарские деревни, смерть почему-то выбирает именно русские деревни. Невольно напрашивается вывод, что, может, это кем-то запланировано? Скорее всего, тем же, кто запланировал кровавую схватку русских с русскими вокруг дорогой мне Ералки. Дед в гражданскую войну воевал за красных, это не помешало ему потом хлебнуть Беломорканала и архангельского лесоповала, остальные мужики в деревне были не то, чтобы все белые, но сочувствовали им, как до того сочувствовали отчаянному Месягутовскому крестьянскому восстанию летом 1918 года против большевиков. И были против, чтобы дед, пусть и свой, но красный, после окончания гражданской войны в планах на счастливую жизнь начал строиться в их деревне, и у деда всегда под рукой была винтовка, с которой он вернулся с Первой мировой. Позже эти мужики в большинстве своём будут раскулачены и сосланы в Сибирь, где в большинстве своём и сгинут.

— Дядю Василия Летанина, брата отца, арестовали, как вспоминаю, не во время раскулачивания, — рассказывала мать. — Нет, никаким кулаком он не был, то ли кому из активистов не угодил, может, тем же Калинин или

Корнееву, в колхоз ли он отказался вступить, вот его и арестовали, там, в Сибири, и сгинул без единой весточки. Татьяна, жена его, осталась мыкаться одна с восьмерыми. А через какое-то время и её арестовали: поймали на воровстве, пыталась унести с колхозного тока в кармане несколько горстей пшеницы. Увезли в Уфу, и тоже с концом. Потом, не помню уж, кто, то ли передачу в тюрьму кому возил, поехал в Уфу, и ночью с вокзала заблудился и попал на кладбище, и там наткнулся на яму, полную убитых или умерших людей, и ему показалось, что верхней лежала Татьяна, только волосы совершенно белые, седые. Это он уж только потом, лет через десять рассказал, потому что кто-то увидел его тогда у этой ямы, завели куда-то и долго стращали, что если расскажет кому, его ждёт то же самое, и даже заставили расписаться.

— А дети куда? — будучи уже с седой бородой, наивно спросил я.

— Куда? По детдомам, да обязательно не в один, а в разные, чтобы родства своего не помнили...

Так вот, шли мы с дедом по увалам над умирающей Ералкой, и на одном из увалов дед подвёл меня к одинокому камню:

— Запомни, здесь лежат белые, придёт время, о них люди вспомнят, потому как они тоже были русские люди и не меньше, а может, больше красных любили Россию. Обещай мне, придёт время, поставь крест над этой могилой безвестных русских людей. А такое время обязательно придёт. А пока никому не говори про эту могилу, могут быть большие неприятности.

Прошло время, умер дед, а до этого умерла деревня Ералка, Остроумовка тож, как умерли или убиты по какому-то тихому злобному плану сотни тысяч других русских деревень. И через много лет, когда из меня начисто выветрился пионерский дух, я не смогу найти этой безымянной могилы. Скорее всего, камень с неё увезли, не подозревая о его назначении, на фундамент строящегося дома соседние мусатовские мужики. Как увезли они на фундаменты могильные камни со старо-куркинского кладбища, видимо, считая, что всё, что лежит на их земле, по праву принадлежит им. Или, может, чтобы ничто не напоминало о бывшей когда-то здесь русской деревне.

Может быть, попытаюсь сгладить свою вину перед дедом и перед самим собой, я буду искать могилы русских изгнанников, — а я почему-то чувствую вину перед этими людьми, которые были не обязательно русскими по крови, — в Сербии, Черногории, Греции, Италии, Франции, Чехии... А они по всему миру: в Германии, США, Парагвае, Аргентине, Австралии и даже на экзотических островах Папуа — Новой Гвинеи. Во Франции я найду могилу бывшей владелицы санатория Шафраново под Уфой Ирен де Юрша, в девичестве Ирины Переяславльцевой де Гас, которая оставила после себя потрясающие, полные любви к России воспоминания “Моя бывшая Россия”. Всю жизнь она мечтала увидеть Россию без большевиков и всё хотела узнать, сохранилась ли церковь в Шафранове. От церкви, конечно, не осталось и следа. В её восстановление вложил душу уроженец Шафранова, не виноватый в уничтожении церкви, но всё равно чувствующий вину за порушенное, — это свойство истинного русского человека, — бывший партийный функционер Виктор Александрович Пчелинцев. Её племянник, чистый француз, профессор католического университета, не знающий русского языка и никогда не бывавший в России, которого я найду в сельской глубинке Франции, передаст мне 1000 евро в фонд восстановления церкви, мы добавим недостающую сумму от Аксаковского фонда и отольём колокол, и он уже на смертном ложе, умирающий от рака, продиктует надпись на колоколе: “В память семьи де Гас, жившей в Шафранове в 1910–1917 годы и беззаветно любившей Россию”.

В Болгарии, у подножья знаменитой Шипки, мне покажут заброшенное кладбище русских офицеров, юными прапорщиками и поручиками воевавших здесь за освобождение Болгарии от османского ига, и в гражданскую войну, уже полковниками и генералами, спасаясь от неминуемой смерти, вынужденных вернуться сюда и лечь здесь. В меру своих скромных сил я попытаюсь спасти кладбище от забвения. Потом узнаю, что у меня найдутся последователи, будет создан инициативный комитет по спасению кладбища, который возглавят русский офицер-пограничник, этнический немец Иван Мучлер и болгарская женщина Гина Хаджиева.

Деревня Ералка умерла, а скорее, её убили, как убили сотни тысяч других русских деревень, начав убийство с идеолога русской деревни Петра Аркадьевича Столыпина. Удивительно: со смертью Ералки почему-то притих родник Трёхглавый. Он уже не вырывается из подножья Ягодных гор с торжественным грохотом, а изливается тихими печальными струями, словно слезами. Уже давно не осеняют его купы черёмух, и исчезла куда-то вековая лиственничная колода, из которой поили лошадей. Коров и овец принципиально поили ниже по течению. Кони же, напившись, некоторое время стояли как бы в задумчивости, а потом, встряхнув гривами, призывно ржали в небо, словно кого-то звали или о чём-то предупреждали.

В прошлом году меня неотвратимо, словно в предчувствии конца, потянуло в Ералку. Мечталось побывать там в пору спелой клубники. Но удалось поехать только поздней осенью, уже после первого снега, после которого природа притихла в ожидании зимы. Может, не случайно так получилось? Может, эта пора более соответствовала состоянию моей души? Печальная долина, прижатая низким небом, была безлюдна и бесприютна. Мне казалось, что она, как и родник Трёхглавый, тосковала по людям. Или отдыхала от них?

Основания бывших фундаментов домов были изрыты, словно свиньями. Это кладоискатели искали закладные монеты при строительстве дома в красный угол под первый венец. Ищут и золото. Говорят, что не всегда безуспешно, потому как прятали его наспех, надеясь вернуться, перед арестом во время революции, во время раскулачивания, во время гражданской войны. От Ералки сохранились лишь три тополя. Один — перед бывшим домом моего деда, Филиппа Григорьевича Летанина, и два — на взгорке перед домом его сына, Николая, моего дяди, которые он посадил весной 1941 года, как оказалось, перед уходом на Великую Отечественную войну, с которой не вернулся.

Одинокий тополь — между бывшими деревнями башкирским Казырбаком и русской Старо-Куркиной. За свою жизнь по пути в Старо-Михайловку или из Старо-Михайловки я сотни раз проходил мимо него. И почему-то только взрослым узнал, что он посажен перед своим домом между двух деревень моим прадедом по матери Горбуновым Петром Александровичем, который был лесным объездчиком и работал вместе с отцом Игоря Васильевича Курчатова, Василием Алексеевичем, бывшим в этих местах помощником лесничего. Здесь родилась моя бабка. Она последней уезжала из соседней Старо-Куркиной, как до этого последней с дедом уезжала из Ералки. Её сын, Пётр Филиппович, каждый год уговаривал переехать к нему в город Юрюзань. Но она — ни в какую, хотя ей было уже под девяносто. В конце концов, увёз её практически силой, потому что ему надоело слушать упреки чужих и не чужих людей, что он бросил мать в заброшенной деревне.

Могучий тополь на усадьбе моего прадеда стоял ещё лет десять назад, в последний мой приезд, а когда я приехал в прошлом году, он лежал сплеснённый. Кому он мешал, никто не прокладывал здесь дорогу, ни линию электропередач, не взяли его на дрова, но кому-то он стоял поперёк души.

Что касается деда, Филиппа Григорьевича, в Первую мировую войну он сначала служил в кавалерии, а после тяжёлого ранения — в артиллерии. Сохранилась фотография: Пинские болота в Белоруссии, нечто вроде полушалаша, праздничное застолье, отмечают Пасху, во главе импровизированного стола мой дед, хотя далеко не самый старший по возрасту и по чину в компании, но сегодня он герой: он сумел проползти в белорусский хутор, находящийся в нейтральной полосе между двумя воюющими сторонами, и принести яйца, хлеб и бидон самогона, в каких ещё в мою детскую бытность хранили керосин.

Мой дядя, Пётр Филиппович, записал рассказ деда Филиппа о Первой мировой войне: “У нас были такие успехи! Наконец стали теснить немцев, да так теснить! А потом вдруг приехали агитаторы из тыла, говорят: “Бросайте оружие, разъезжайтесь по домам, делите помещичью землю, так как в России революция, рабоче-крестьянская власть”. Наступление сразу остановилось, стало всё рваться, армия разваливаться, рассыпаться. И я тоже подался домой, на всякий случай прихватив с собой винтовку...”

Сколько помню, в доме деда в Ералке на почётном месте правее икон был портрет Георгия Константиновича Жукова, вырезанный из журнала “Огонёк”. Когда сельсоветская или иная власть начинала прижимать деда, в том числе непосильными налогами, он, выпив с досады подпольной бражки, грозил: “Вот напишу Жукову, он им покажет кузькину мать!” Или в День Победы, тоже навеселе, с гордостью говорил: “Ещё неизвестно, как бы Великая Отечественная война закончилась, если бы я не сделал Жукова маршалом”. Я объяснял эти заявления чрезмерным употреблением бражки, пока через многие годы его сын, Пётр Филиппович, мой дядя, мне, уже взрослому, не объяснил суть этих заявлений:

— Отец в Первую мировую служил с Жуковым в одном полку, в разных ротах, оба рядовые. Того и другого ранило. В госпитале оказались в соседних палатах. Деда навещил командир полка, как помню, дед говорил, что у него была плохая фамилия: Соплин. Командир полка пришёл к деду с медалью и с известием:

— Ты, Летанин, доблестный воин, мы решили тебя после выздоровления направить в школу фельдфебелей.

Дед взмолился:

— Господин полковник, я не хочу после войны оставаться в армии, хочу крестьянствовать, позвольте мне довоевать войну простым солдатом.

Полковник говорит:

— Так мы уже документы на тебя отправили.

— Очень прошу, господин полковник!

— Ладно, если подыщешь себе достойную замену, подумаем.

Дед, не откладывая дело в долгий ящик, покостылял в соседнюю палату:

— Георгий, не хочешь в школу фельдфебелей?

— Как-то не думал, да и мне не предлагали.

— Есть такая возможность, и меня выручишь.

— Дай подумать до завтра.

Наутро отец с надеждой снова костылял в соседнюю палату. К его радости, Георгий Жуков согласился. И дед всю жизнь, когда был навеселе, с гордостью вопрошал, обращаясь больше к самому себе:

— Если бы не я, обрела бы Россия великого полководца?

Я не очень поверил в этот рассказ и разыскал книгу воспоминаний маршала Жукова. Действительно, командиром полка, в котором служил Жуков в Первую мировую войну, был полковник Соплин.

### Улица имени Александра Корнеева

Редко я бываю на родине, а если бываю, то больше на реке Юрюзани да на горе Сосновке, которым я в детстве поверял свои недетские печали. Почему-то стесняюсь я своих земляков, чувствую вину перед ними, хотя вроде бы ни в чём перед ними не виноват. Может, испытываю неловкость за то, что не пережил того, что они пережили, почему они такие молчаливые.

Теперь это уже давно было. Ехал я по Старо-Михайловке по родной улице Социалистической. На проулке у старого пятистенного дома на высоком фундаменте стояла, опершись на клюку, старая женщина, тётя Татьяна Мызгина, в девичестве Чванова. Только недавно от матери узнал о её невестой судьбе.

— Здравствуйте, тётя Татьяна!

— И ты здравствуй! Никак Андрея Алексеева сын?

— Он.

— С трудом узнала, время летит, а давно ли без штанов бегал!.. Говорят, писателем стал.

— Да вроде этого...

— Не надо, не смущайся, как красна девка. Иван вон Томилин хорошо о тебе говорил. Читал он тебя. Что коммунистам аллилуйя не пел и что в коммунизме не звал, потому ни в писательские, ни в какие другие начальники не выбился. Ты бы про мою жизнь написал, только не напечатают или даже в тюрьму посадят, хотя, конечно, времена немного поменялись. А то у нас всё пишут о Сашке Корнееве, какой он герой, который пустил меня по

миру, улицу вон его именем назвали, пенсию генеральскую назначили, квартиру в новом доме дали. Теперь на собственной улице живёт. Что и говорить, старый большевик! Хотя, что мне жаловаться, после многих перемог в своём доме доживаю, теперь, чай, не отберут. Теперь большевики сменили своё название, как волки переоделись в овечью шкуру. Теперь они не коммунисты, но по-прежнему нашей жизнью заворачивают. Ничего не скажешь, эти поспокойнее, поласковее, хотя по-прежнему с твёрдым взглядом, но тоже в туман-коммунизму зовут, хотя, кажется, сами мало верят в эту коммунизму. Людей в неё зовут, а сами сегодняшним днём живут. Тайком, от народа спрятавшись, не только хлеб с маслом едят. Для них в любой магазин особые двери... Тяжело мне стоять, ведь за девяносто уже, если не торопишься, теперь все торопятся, бегут, сами не зная куда, давай присядем вон на скамеечку. Спасибо, что мимо не проехал! А то года три назад я так же стояла у ворот, что мне больше одной остаётся, а ты проскочил, даже не повернув головы, на своей блестящей машине.

— Простите, может, задумался... Вот вы Корнеева упомянули. Может, расскажете о нём?

— А что о нём рассказывать? Одним словом, старый большевик.

— А если правду?

— А если правду, то неловко как-то, он теперь родственник тебе. Твою сестру замуж за его младшего сына угораздило выйти. Можешь ещё обидеться.

— Нет, не обижусь.

— Сколько ни думаю, не могу понять, откуда в нём эта зараза завелась? Мозгов моих на это не хватает. Вроде нормальные родители, правда, работать не очень любили, по гулянкам больше. Почему-то в каждой деревне, в каждом селе пусть один, да найдётся свой Корнеев. И, наверно, так по всей стране, иначе бы ни революция, ни коллективизация не случились. Почему Бог так попустил? Неужто для проверки народа? Можно ли его брать его к себе в Царствие Небесное в час Страшного суда?

Ну, так слушай! Корнеев ещё подростком спутался с этими самыми большевиками. А этих словно ветром откуда надуло. Весной 1918 года к нам в район нагрянул так называемый продотряд аж из Петербурга, вооружённый не только винтовками, но и пулемётами. К тому времени они уже обобрали, проели, пропили центральную Россию, и вот добрались до нас, до Урала. В помощь себе они создали волостной совет и боевую дружину из местных бедняков и разных прощелыг. Вот к ним и примкнул самым молодым Корнеев. Они помогли прибывшим изымать хлеб, указывали, где он мог быть спрятан, не оставляли даже семенного зерна, всё равно, мол, где-то припрятали. Из Старо-Михайловки и окрестных деревень на станции Мурсалимкино и Кропачёво при помощи местных активистов за месяц было вывезено боле 3 тысяч пудов зерна. Подчистую выгребали...

Я знал продолжение этой истории. Дальнейшему вывозу хлеба из деревень за Юрюзанью на станцию Кропачёво помешал весенний разлив Юрюзани. Местные большевики согнали крестьян на массовый субботник для строительства понтонного моста через Юрюзань около башкирской деревни Казырбак. Чтобы помешать вывозу хлеба, окрестные мужики, вооружённые вилами, охотничьими ружьями, винтовками, привезёнными с фронта, во главе с офицером Водолеевым жестоко расправились с членами дружины и волостного совета, а их тела побросали в стремительную Юрюзань. В этот же день арестовали остальных членов дружины и волостного совета и расстреляли около села Сикияз. Оставили в живых только самого молодого, пятнадцатилетнего Александра Корнеева. Выпорол: может, человеком станет, за ум возьмётся.

Этот эпизод с постройкой понтонного моста через Юрюзань выльется в одно из самых отчаянных и жестоких крестьянских восстаний против большевиков, равное, может, только широко известному Тамбовскому восстанию. Оно скоро охватило Месягутовскую, Дуванскую, Белокатайскую, Емашинскую, Айлинскую волости, словом, почти весь северо-восток Башкирии. Уже через неделю крестьянская армия насчитывала около пяти тысяч человек. Пришлось снимать воинские части с Восточного фронта, который в это время проходил около Златоуста...

Надо сказать, что в то время Златоустовский уезд, богатый чернозёмом, несмотря на суровый, резко континентальный климат, был одним из плодороднейших районов не только Приуралья. Крестьяне Златоустовского уезда в культуре земледелия, несмотря на различие в климате, успешно соревновались с фермерами Канады, они широко применяли севообороты, даже выпускали свою газету.

— Лет десять было сравнительно тихо, — продолжила свой рассказ тётя Татьяна, — хотя налогами крепко прижали. Но в 1928–1929 годах в деревне снова появились так называемые уполномоченные, над ними начальником приезжий Карлышев. К ним присоединились местные активисты, заводилой у них Корнеев. За ум он взялся, только с обратной стороны. Ходили они по деревне и выпрашивали самогон, брагу и, если отказывали, грозили увеличить налог, а то и раскулачить, выслать. В результате добывались своего, ставили им выпивку и закуску. Угрозы о раскулачивании и высылке сначала не воспринимали всерьёз, наливали на всякий случай или из презрения, а кто гнал в шею, потом об этом горько жалели.

Тётя Татьяна подобрала углом платка набежавшую слезу.

— Пришли к нам, мать мою, Настасью, стали упрекать, что она не убрала иконы из божницы. На что она ответила: всё, что просили, на столе, а туда голову не поднимайте. И так наведывались чуть ли не каждый день. И каждый раз приходилось что-нибудь ставить на стол. В пьяном угаре похвалялись, что всё равно не откупитесь, всё равно скоро арестуют и сошлют тридцать самых крепких мужиков, а потом раскулачат и сошлют ещё 20 семей, план такой есть, разнарядка. Думали, по пьянке врут. Как это: арестовать 30 мужиков, а потом ещё сослать 20 семей, когда в деревне всего 94 дома?! А оказалось: правда, первоначально нас обложили налогом в 90 рублей; чтобы заплатить его, пришлось продать трёх рабочих лошадей. А потом, действительно, стали арестовывать и высылать, сначала в Сибирь, в Черемхово, в шахты, а потом в Архангельскую область, на лесоповал. Особенно неистовствовал Корнеев, как бы чего лишнего из одежды на себя не одели, разрешалось только то, что на себе. Грешна, однажды подумала: “Лучше бы тебя, проклятого, тогда около Сикияза растреляли!” Кореченков, подельник его: мать раскулачили, посадили на телегу, а он ссадил её с телеги и заставил снять лишнюю кофту, шубу, даже юбку вторую снял. Мать потом, вернувшись из ссылки, милостыню собирала, к сыну не заходила... Ну, ладно, Корнеев и ему подобные — выродки. Но ведь как вели себя при раскулачивании некоторые? Завтра их тоже раскулачат, а сегодня они нарасхват раскупают вещи раскулаченных, которые распродают прямо на улице.

Нас раскулачили одних из первых. Не спасли ни самогонка, ни угощение, выставленное матерью. В чём были одеты, посадили на телегу и под винтовками повезли на станцию Кропачёво. Там погрузили в переполненный вагон-теплушку, в том числе старики, женщины, дети, немощные. Вагон стоял на станции несколько дней, надо было заполнить весь состав, а состоял он из 12 вагонов. Некоторые в пути умирали. Когда их накапливалось, поезд останавливался где-нибудь в лесу, наскоро копали неглубокую общую могилу, которую никак не обозначали. Привезли в Архангельскую область, выгрузили в глухом лесу и бросили без средств существования. Начали строить шалаши. Страшно вспоминать...

Тётя Татьяна снова убрала углом платка слезу.

— В Отечественную войну, когда все здоровые мужики ушли на фронт, Корнеев как народный герой, жизнь которого представляет для страны особую ценность, долго ещё председательствовал в куркинском колхозе. И только уже перед концом войны его взяли, где и кем служил, не знаю, только, в отличие от остальных, посылки присылал. Потом рассказывали: вернулся, спрашивает жену про золотые кольца, которые с фронта посылал. “Какие кольца?” — не поняла она. “А какие я тебе в мыле посылал, чтобы при проверке не обнаружили”. А она это мыло на самогонку меняла, любила она это дело...

Года через два мы с сестрой приехали в Старо-Михайловку навестить родные могилы. Обратю из села выезжали по улице имени Александра Корнеева. Странное чувство я испытывал. Я знал, что как старый большевик, окружённый почётом, Корнеев давно уже живёт в райцентре, впрочем, где



ему ещё жить: и Старо-Куркино, откуда он был родом, и Ново-Куркино, где он председательствовал, он и подобные ему разорили. Теперь он жил в престижном доме в трёхкомнатной квартире, заработанной всей его славной героической жизнью.

— Давай заедем... — попросила меня сестра. — Он уже не встанёт...

Я отмолчался.

— Всё-таки родственник... — продолжала она.

Я молча подъехал к указанному дому. Это был худший вариант сельской крупнопанельной трёхэтажной хрущёвки с плоской, вечно текущей крышей, с тесными комнатами и низкими потолками, с узкими лестничными клетками. Такими узкими, что гробы приходится спускать с балконов на верёвках. Говорят в оправдание, что после войны было не до жиру, рады и такому жилью! Массовое послевоенное жилищное строительство, когда миллионы людей наконец обрели пусть неказистое, но своё жильё, ставят в заслугу Хрущёву. Это, кажется, единственное, по какому поводу его вспоминают добром. Но на самом деле, оказывается, начинателем послевоенного массового строительства дешёвого жилья был его предшественник, Георгий Маленков, только при нём оно не успело развернуться в полную силу, и все благодарности достались Хрущёву. Но подхватив инициативу, он и тут оказался Хрущёвым: приказал ради экономии средств уменьшить размеры квартир.

— Ты заходи, а я подожду, — попытался я отговориться.

— Нехорошо как-то... — умоляюще смотрела на меня сестра. — Всё-таки родственник, — повторила она.

Чтобы не обидеть сестру, полный противоречивых чувств, я выбрался из машины. Скрепя сердце вслед за сестрой вошёл в квартиру; воздух был спёртым, пахло лекарствами. Всё говорило о тяжело больном человеке.

Мне поставили табуретку к его кровати.

Я не знал, с чего начать. Я не знал, о чём с ним говорить. Передо мной лежал дурно пахнущий, старый, за восемьдесят лет, тяжело больной человек, к которому я должен был испытывать, по крайней мере, сострадание, хотя бы потому, что он приходится дедом моей племяннице, которую я очень люблю. Но в то же время я никак не мог отрешиться от мысли, что именно он, — впрочем, если бы не он, то нашлись бы другие, — пустил по миру, сгноил в концлагерях и ссылках треть моей деревни, а от других деревень в результате его и подобных ему революционной деятельности вообще ничего не осталось. Когда я шёл к нему, была у меня мысль прикинуться дурачком и порасспрашивать о его славном революционном прошлом, которым он, несомненно, должен был гордиться. Понимает ли он, что они натворили? Но я отказался от этой мысли.

Он так долго и внимательно рассматривал меня сквозь слегка приоткрытые веки, что мне стало немного не по себе.

Я по-прежнему не знал, с чего начать разговор.

— Чванов Алексей, что ли? — наконец приоткрыв глаза, спросил он.

Мне показалось, что он бредит.

— Нет, внук.

— Конечно... Сразу не сообразил, что Алексеем быть не можешь, столько времени прошло... Надо же: копия деда! И борода... Вот ведь как: родственники теперь...

Я промолчал.

— Дед твой, Алексей Степанович, был работяга... А прадеду твоему, Степану Тимофеевичу, в работе не было равных! Он был невысокий, но очень сильный. Жена была на голову выше его. Какой кузнец был, колёсник, жестянщик! Он одновременно писарем был — деревень Михайловки, Каратавлов и Калмакларово... — Он замолчал, прикрыв глаза, словно уснул.

Я уже собрался встать, как он приоткрыл глаза снова:

— Значит, решил посмотреть на меня, какой я? Раньше объезжал меня стороной. Был, да вышел. Да... Чвановы — все работящие были. Помню, Пётр Чванов. Он тебе дальним родственником приходится. Полдеревни ведь были Чвановы. Он не мог, чтобы утром кто-то раньше его за работу принимался. Идём мы с вечерок, ещё ребятами были, и давай в какое-нибудь

железо стучать. Он вскакивал, думая, что кто-то раньше его встал, и принимался за работу. Гордый был... Сначала мы его налогами замучили. А потом в Черемхово отправили, в шахты. Оттуда он уже не вернулся. А сыновья по заводам разбежались, чтобы избежать его судьбы... А ещё был Виктор Чванов, тот вернулся из Черемхово, только уже после войны, но года не жил...

У меня холодок побежал по спине. Я порывался спросить, как он теперь относится к своим славным деяниям? Осознал ли, что совершил с себе подобными со страной? Но почему-то не решился спросить. Я был словно загнипнотизирован им, от него даже на смертном ложе веяло какой-то тяжёлой мутной силой.

— Крепко мы прошлись по вашему чвановскому роду, — снова приоткрыл он глаза... — Сильно гордые были... Да не только по Чвановым, и по Томилиным, и по Мызгиным мы прошлись... По другим... и так по всей стране: самых крепких мужиков к общему знаменателю привели, самых работающих мужиков извели...

Он закрыл глаза, давая понять, что разговор закончен. И трудно было понять, с сожалением или с гордостью произнёс он последние слова...

### Семён Фёдорович Чванов

Он позвонил мне на работу:

— Я ваш дальний родственник, Чванов Семён Фёдорович, беженец из Душанбе. Можно сказать, бомж. Можно с вами встретиться?

— Где вы сейчас?

— В Уфе. Хожу по разным организациям. Сейчас в республиканском архиве. Ищу документы по раскулачиванию отца, Чванова Фёдора Викторовича, двоюродного брата вашего деда.

— Что удалось выяснить в архиве?

— Что сначала его арестовали, сослали в Сибирь, в Черемхово, а решение о раскулачивании оформили только через год, задним числом.

— В Уфе вы где-нибудь остановились?

— Нет, рано утром приехал из Старо-Михайловки, вечером обратно, на дела остаётся мало времени. Гостиница мне не по карману.

— Запишите мой адрес, после шести я буду дома. У меня переночуете, заодно и поговорим.

— Неловко как-то, да и как супруга...

— Что значит — неловко? Родственники ведь, а супруга у меня умерла...

— Вот так, — вечером за ужином начал он рассказывать, — в Киргизии, в городе Ош я был главным бухгалтером мебельной фабрики, трёхкомнатная квартира. Ошские события, погромы: “Русские — в Рязань, татары — в Казань!” Жена не пережила всего этого, умерла. Пришлось всё бросить.

— Даже продать не удалось?

— Какой там, — хорошо, что ноги унёс!.. Перебиваюсь у дочери в общежитии в Челябинской области. Приехал на родину, в Старо-Михайловку, наш дом целёхонек, только перевезли его на другое место, живет в нём какой-то Лысенко, купил у райкоммунхоза. По указу Ельцина дом должны мне вернуть. Этот Лысенко, выслушав меня, выгнал. А я хочу жить в своём доме.

— Теперь Лысенко, что ли, раскулачивать? — усмехнулся я. — Указ-то есть, но он всего лишь филькина грамота, финансово он ничем не подтверждён.

— Государство, местные власти должны дать этому Лысенке квартиру. Или пусть мне дают квартиру.

— Неизвестно, Ельцин трезвым или пьяным подписывал этот указ. Добрым царём хотел показаться. Был в этом указе пункт о создании специального денежного или квартирного фонда для таких, как вы? Откуда в сельсовете деньги на ваш дом или квартиру? Свои годами ждут.

— Получается, что я не свой?

— Все мы в нынешнем царстве-государстве не свои.

— Так оно... В детстве мыкался, когда нас во время коллективизации из дома выгнали. Шайка Корнеева да приезжего уполномоченного Карлышева

выгнала, когда мать отказалась идти в колхоз. Отец в это время уже был в концлагере, его даже не спрашивали, хочет ли он в колхоз. И так, видимо до смерти придётся мыкаться. Коллективизация — это большой вопрос; с одной стороны, труд крестьянский — по сути своей коллективный, так его легче механизировать, но этот вопрос нужно решать на добровольных началах, если люди увидят преимущество коллективного труда. Но ведь что учудили: создали из колхозов истинный концлагерь, только вместо колочей проволоки — отсутствие паспортов, и без колочей проволоки никуда не убежишь. Общинный труд превратили в наказание, приучили к воровству. Мало в России, эту систему труда навязали другим, за что нас в так называемых социалистических странах ненавидят. А идею коллективного, артельного труда ещё вспомнят. На крепких мужиках надо было строить Россию, а их порешили, да ещё назвали врагами народа. Иногда задумаюсь: может, мы на самом деле враги, только вот какого народа? Отца раскулачили по 3-й категории, то есть с конфискацией дома и всего имущества, а арестовали по 58-й статье, пункт 10, что значит контрреволюционная деятельность. Осудили на десять лет концлагеря только за то, что он, в отличие от Корнеева и Карлышева, умел и любил работать...

Видно было, что ему не просто давался этот рассказ.

— Мыкались мы с матерью по чужим углам, шестеро детей, но всё-таки встали на ноги. Закончил я школу-десятилетку с отличием. Мечтал стать лётчиком, в лётное училище не взяли. Точнее, отчислили с первого курса как сына “врага народа”, при поступлении я сумел это скрыть, так потом откопали. А началась война, нас, детей “врага народа”, вспомнили. “Сыновья не отвечают за отцов”, — сказал товарищ Сталин. Два старших брата, Василий и Дмитрий, погибли в первый год войны, причём брат Дмитрий погиб героически, был младшим командиром. После двух похоронок я решил пойти на фронт добровольцем. Боялся, что не возьмут как сына “врага народа”, но не взяли из-за возраста. А через год пришла повестка и мне. Военкомат тогда был в другом районе, в Кигах. Стоял февраль. Лошадь в колхозе не дали. Пошли четверо новобранцев в Киги пешком через Старо-Куркино, через Ералку. Началась метель. Сбились с пути. В какое-то время нащупали под ногами санный след, пошли по нему, а он привёл к стогу сена, за сеном, оказывается, приезжали. Вышли на открытое место, никаких ориентиров, наконец вышли на телефонную линию, пошли по столбам, по гулу проводов. Ночь застала в открытом поле. Ночевали прямо в снегу. К утру метель утихла, стукнул мороз. Встав из сугроба, увидели в трёх километрах деревню, добирались до неё ползком... Ступню правой ноги пришлось ампутировать. Инвалид, на войну не взяли. Очень просился, хоть санитаром, хоть кем, чтобы смылг клеймо сына “врага народа”... Тяжело вспоминать... Только уже после смерти Сталина смог поступить в институт, на экономический факультет...

— А как вы попали в Киргизию?

— После института получил направление в Магадан, оттуда направили в посёлок Сусуман, оказалось, что в концлагере этого посёлка мыл золото мой отец и похоронен в неизвестной могиле. В Сусумане и женился. Жена попала в Сусуман тоже по распределению. Климат ей, ростовчанке, не подошёл. Заболела лёгкими. Врачи посоветовали сменить климат на сухой, жаркий. К этому времени я уже отработал два года, положенные по распределению...

Засиделись за полночь.

Утром я спросил его:

— Куда вы теперь?

— Снова в Старо-Михайловку, там обещали рассмотреть мой вопрос.

— Сразу говорю, что пустое это дело, нет у них ни денег, ни квартир, только нервы себе помотааете.

— Ты говоришь, что раньше в газете работал. Может, напишешь обо мне статью в газету, может, это поможет?

— Пустое дело, при всём желании помочь, нет у них по этому указу ни денег, ни квартир. Как нет на это денег не только по всей стране, но в Москве. Я говорю же, филькина грамота, которую Ельцин, мня себя царём, подпisał по пьяни.

— Неужто на самом деле метит в цари, в народе слух такой ходит?

— На самом деле, почувствовав, что президентский стул под ним качается. Если не царём, то регентом при якобы отпрыске Романовых, принце Георгии, который на самом деле не Романов, а Гогенцоллерн... Придворные прохвосты на чёрный день, чтобы он мог усидеть на троне, ему такую должность придумали. Вон даже корабль “Принц Георгий” собрались строить...

Он уходил явно обиженный на меня, что не могу или не хочу помочь.

— Позвоните мне, чем всё это кончится. Если снова придётся ехать в Уфу, ночевать приходите ко мне.

Он позвонил через день:

— В райисполкоме собрали комиссию. В комиссии Корнеев, внук Корнеева, который нас раскулачил. Назначили мне за дом, за все унижения и страдания 830 рублей, по нынешним ценам приличные штаны не купишь, я в десять раз больше проездил, пока справки разные добывал. Так и эти деньги, которые я спланировал на билет в обратную дорогу к дочери в Челябинскую область, не получить. Потом, говорят, пришлют, потому как задержка с зарплатами и пенсиями...

Сколько времени прошло после этой встречи, наверное, наконец, нашёл покой Семён Фёдорович на чужом кладбище в Челябинской области, а всё равно свербит сердце.

### Крёстная

Для меня так и осталась тайной история моего крещения. Церкви в Старо-Михайловке не было даже до революции, только часовня, родители икон дома не держали, потому как — продукт коммунистической эпохи — были неверующими, хотя и были крещены в младенчестве, как все крестьянские дети. Так как я в обязательном порядке был октябрёнком, а потом пионером, крестика не носил, но крёстная у меня была, хотя в детстве я не понимал и не задумывался о сущности этого слова — крёстная и крёстная, тётя Лида, моя двоюродная сестра, дочь сына Филиппа Григорьевича Летанина, Николая, не вернувшегося с войны, о нём пока ещё напоминают два тополя на пригорке давно погибшей Ералки.

Крёстная меня очень любила. Когда я долго не гостил в Ералке у деда с бабкой, она меж утренней и вечерней дойками коров за семь километров приходила в Старо-Михайловку, чтобы навестить меня. Она буквально меня зацеловывала. Когда я стал немного постарше, стал стесняться её поцелуев.

Когда уже в классе седьмом или восьмом я узнал, что за словом “крёстная” стоит понятие “крёстная мать”, я поинтересовался у матери, как это: меня не крестили, а крёстная мать у меня есть.

— Да крестили тебя, — с неохотой ответила она. — Только не знаю толком, кто и когда. Знаю только, что летом у деда с бабкой в Ералке. То ли тайно окрестил вышедший из заключения ново-куркинский поп, церковь к тому времени была уже заколочена, то ли бабки в бане.

Пройдёт много лет, я уже начну восстанавливать с Божьей помощью и добрых людей из руин храм во имя великомученика Дмитрия Солунского в Надеждино, бывшем имении Сергея Тимофеевича Аксакова, где у него родился великий печальник неблагодарного славянства Иван, я расскажу о своих сомнениях настоятелю храма, своему соратнику игумену Зосиме, светлая ему память! Мы лежали с коронавирусом в разных больницах, каждый день перезванивались, я выжил, может, и по его молитвам, а он умер.

— Может, мне ещё раз по-настоящему покреститься? — спросил я его.

— Не надо, это было самое настоящее крещение — тайное, запретное, в пору гонений на Церковь, — успокоил он меня.

Сколько помню, после школы-семилетки тётя Лида работала дояркой на соседней старо-куркинской молочно-товарной ферме — в длинном низком сарае, крытом соломой, отчего крыша всегда протекала. Всегда в резиновых сапогах, потому как почти всё время по колено в навозной жиже. Потому у неё уже в молодости болели суставы.

С раннего утра и до позднего вечера. Другой работы в деревне не было. Три километра утром ещё в кромешной темноте, часто в дождь или в буран, три километра обратно, зимой опять в темноте, а заведовал фермой её

старший брат Сергей, потому надо было для остальных быть примером. Каторжная, не знающая выходных работа.

Но тётю Лиду такая работа не тяготила, потому что она любила коров, и коровы любили её. Они с радостью отдавали ей молоко. И со временем тётя Лида стала знаменитой не только в колхозе, но и в районе, а потом и в республике дояркой. К ней часто стали навещаться журналисты, но не решались её фотографировать на фоне полуразвалившейся фермы. Был случай, когда её специально свозили для фотографии в Ново-Куркино, где ферма была не такой неприглядной. Однажды парторг колхоза сказал ей: чтобы выйти на всесоюзный уровень славы, ей будут приписывать надои другой, как бы несуществующей доярки, но тётя Лида категорически отказалась. Ей приводили довод, что тогда решится наконец вопрос со строительством новой фермы, на которую проведут электричество и, может, даже купят электродойку, тогда уйдут в прошлое резиновые сапоги чуть ли не по колено в навозной жиже.

Но разговоры о новой ферме неожиданно закончились тем, что закрыли и старую, — на российскую деревню обрушилась эпидемия ликвидации неперспективных деревень. Закрытие фермы стало для тётя Лиды равнозначно наступлению конца света. На почве нервного потрясения она тяжело заболела и долго лежала в больнице. Вслед за братом Сергеем, который тоже оказался без работы, она была вынуждена уехать в город Юрюзаны.

В Юрюзаны пристроилась санитаркой в больницу. Тепло, сухо, работа с 9 до 18, суббота и воскресенье — выходные. Но все мысли были о Ералке и старо-куркинской ферме: вдруг там что-то образуется? Вдруг снова открывают ферму?

Несколько лет подряд в отпуск ездила по ближним к Юрюзаны колхозам и совхозам, везде, узнав, кто она, предлагали остаться, но всё было не то. Однажды специально приехал директор крупного совхоза аж из Курганской области, звал к себе, обещал хорошую зарплату, чуть не силой усадил в свою "Волгу": "Давайте, покажу вашу квартиру". Вернувшись, долго плакала: "Больно уж там хорошо! Сказали, будут ждать", — и в конце концов отказалась. Все мысли её по-прежнему были только о своей Ералке и старо-куркинской ферме. Вдруг там что-нибудь образуется?

Но там так ничего и не образовалось. Наоборот, вслед за Ералкой умерла и деревня Старо-Куркино.

Уже перед самой смертью Старо-Куркино, где-то в конце шестидесятых или в начале семидесятых годов, в деревню пришло письмо тётя Аксинье Куркиной аж из самой Америки — от пропавшего на войне без вести мужа. При письме фотография, цветная, у нас цветная тогда ещё была большой редкостью.

На фотографии он, Николай, моложавый, сытый, ухоженный, по-городскому одетый, при галстук, рядом с женой и своей машиной на фоне двухэтажного кирпичного дома. Во дворе асфальт, аккуратно подстриженный газон, цветники. В письме писал, что женат, двое сыновей, до этого боялся написать, боялся навредить, вдруг из-за него отправят её, Аксинью, на Колыму... "Не моя вина, что так получилось. До мелочей помню каждое дерево, каждый ложок, речку Лазю..."

А она, раз похоронки не пришло, раз без вести пропал, всё ждала, так больше и не вышла замуж, хотя видная баба, не один мужик сватался, несмотря на троих детей, и даже намного моложе неё сватались. Так и мыкалась дояркой в нищете с тройней, разваливающаяся без мужика изба, распухшие от студёной воды и навозной жижи ноги и руки, всех поставила на ноги...

Долго смотрела она на эту фотографию, долго плакала:

— Я так и знала, что живой. Сердце подсказывало, потому и замуж не вышла... Значит, думал, переживал, раз через столько лет написал.

А сосед, с детства дурачок, в младенчестве с печи упал, когда мать спозаранку ушла на дойку на ферму, некому было присмотреть, тоже долго смотрел на фотографию, а потом сказал:

— Но ты, Аксинья, всё равно красивее, чем его баба. Она только наряжена, а раздеть — жердина жердиной, крыса крысой...

## Араловцы

Как можно медленнее проехав по бывшей улице мёртвого посёлка Ералки, напившись студёной воды из когда-то шумного и отенённого черёмухами родника Трёхглавого, я вдоль речки Лази вниз по её течению по чуть заметной просёлочной дороге поехал в сторону бывшей деревни Куркино, намереваясь потом доехать до Ново-Куркино. Обе эти деревни появилась в здешних местах раньше Ералки и на несколько лет позже неё умерли, разделив судьбу сотен тысяч русских деревень.

Однажды мы с местным учителем истории, башкиром, который переживал за судьбу погибших русских деревень, может быть, больше, чем мы, русские, потому как понимал, что без будущего России не будет будущего и у башкир, разложив карту района, стали расставлять булавки на месте бывших русских деревень и хуторов. Надо сказать, что в советское лихолетье ни одна из башкирских деревень не погибла, хотя вроде бы у тех и других была общая судьба, есть тут над чем поразмышлять. Булавки случайно оказались в виде крестиков, и вся карта оказалась так утыканной ими, словно крошечными могильными крестами, что свободного места для написания названия деревень не осталось. И вдруг я представил карту России, на которой расставлены могильные крестики на месте всех погибших русских деревень, и с ужасом, с холодком по спине представил сплошное огромное кладбище от границы до границы...

Как мы выжили? Первыми после сатанинских Февральского и Октябрьского переворотов были разорены стольшинские хутора. Убив Стольшина, ветхозаветные террористы торопливо с корнем выкорчёвывали первоначальные плоды начатого им великого переустройства России. У них были другие планы на будущее России. Потом... Да что перечислять, что случилось потом, только рвать сердце!

Позвонила мне недавно дальняя родственница: потомки жителей деревень Куркино, Ново-Куркино и посёлка Ералки решили поставить в Ново-Куркино на месте бывшей церкви во имя Николая Угодника общий на три деревни памятный или, точнее, покаянный крест, что жили в этих местах русские люди, и не самые плохие. Но оказалось, что без разрешения районных властей памятный крест ставить нельзя, по старой привычке боялись, что откажут, и она просила меня подписаться под общим письмом-обращением в райисполком: тебе как писателю и почётному гражданину района не посмеют отказать.

На установку креста из-за плохого самочувствия я не смог поехать, и теперь вот с друзьями ехал к нему от одной бывшей деревни к другой. Радовало одно: затоптанная в советское время отгонными стадами и превращённая в навозную клоаку Лазя снова ожила, в ней снова жила краснокнижная форель-пеструшка, о чём свидетельствовал плакат на въезде в бывшую деревню Куркино.

Проехав по Куркино, я поднялся на пригорок, который переходил в бывшую мельничную плотину. Бывшая здесь когда-то мельница имеет прямое отношение к моей родословной, на ней мололи муку мои предки по матери.

Для меня в своё время было шоком, когда, наконец копнувшись в историю родных мест, я узнал, что, мечтая о вольной жизни подальше от всевозможных социальных потрясений, мои предки по матери, Летанины, бывшие работные люди Симского завода, переселились в глухую уральскую глушь, арендовав землю у башкир и основав посёлок Ералку, столкнулись с тем, что еврей-мельник уже ждал их тут. Ждал, когда у них появится первый урожай, и никаких других путей, кроме, как к нему, у них не окажется. Так коснулся моей родословной извечный русско-еврейский вопрос.

Как следует из архивных документов, некто Марк Маркович Араловец ещё в 1871 году, то есть задолго до основания Ералки, заключил договор с башкирами-вотчинниками с. Каратавлы о купле земли в вечное и потомственное владение под водяную мельницу, а потом, укрепившись на месте, от этого договора отказался под предлогом, что после генерального размежевания 1867 года эта земля поступила в надел припущенников соседней башкирской деревни Калмакларово. Мельница была устроена башкирами ещё

в 1833 году и находилась в хорошем состоянии до 1869 года, в декабре которого сгорела. Остались только жернова с колесами и плотина. Марк Маркович Араловец построил на этом месте новую мельницу, не совершив купчего акта и договора. Дальше следовала долгая переписка-тяжба по этому вопросу, который решался то в пользу одной, то второй стороны, но, в конце концов, мельница осталась, разумеется, за Араловцем, выше которой он потом построил ещё и вторую мельницу.

Но что удивило меня: никто из стариков Ералки и двух Куркино худого слова о Марке Марковиче Араловце не сказал, наоборот, все говорили о нём с большим уважением. Что никаким мироедом он не был, всем молот зерно, оставляя себе в качестве платы небольшую часть его, не надо было ехать на дальние мельницы. Скупал у окрестных крестьян излишки зерна, выгодно перепродавал в Центральную Россию, а то и за границу, как говорила моя бабка, отправляя его с ближайшей железнодорожной станции Кропачёво целыми вагонами. Называл себя русским. Каждое воскресенье и по православным праздникам ездил в Ново-Куркино в церковь. После смерти Марка Марковича наследником стал его старший сын Лев. Смотрю в архиве опросной лист переписи Временного правительства 1917 года: Араловец Лев Маркович, русский, крестьянин, 56 лет. Жена — 51 год, сыновья 12, 24, 26, 29 лет, дочь, внуки 6, 9 лет, внучки — 3, 5, 8 лет, снохи 23, 26, 29 лет. Работники 11, 15, 24, 55 лет, 2 мельницы, 9 рабочих лошадей, всего 14, овец 35, свиней 21, коров 20, 8 из них взрослые, два быка. По определению большевиков, по всем статьям он попадал под категорию кулака-мироеда, не только потому, что использовал наёмный труд.

Но откуда Марк Маркович Араловец появился в башкирской глуши? В Национальном музее Башкирии хранится рукопись воспоминаний его внучки Екатерины Дмитриевны Араловец:

“Марк Маркович был родом из Ревеля. Было их три брата. Кто были их родители — неизвестно. Известно только, что трое осиротевших детей были помещены в сиротский дом, охрещены по православному обычаю и получили имена Александр, Марк и Фёдор. Марк и стал моим дедом. Трёх лет был взят в семью Шестаковой Людмилы Ивановны, родной сестры композитора Михаила Ивановича Глинки. До самой смерти хранил он подарок своей крёстной матери — икону Богородицы. На обратной стороне этой иконы была наклеена бумага, и на ней было написано: “Моему богоданному сыну от его крёстной матери Шестаковой Людмилы Ивановны”. В углу парадной комнаты икона висела одна. Дед не позволял вешать рядом другие иконы. Икона была на деревянной доске, небольшая, старинного письма, в позолоченной ризе, в застеклённом киоте.

В доме Людмилы Ивановны Марк рос до 19 лет, до её смерти. Дед обладал большими музыкальными способностями. Людмила Ивановна учила его игре на скрипке. Дед мечтал о поступлении в консерваторию. Но с поступлением ему не повезло. В тот год принимали студентов только до 18 лет, а ему уже шёл девятнадцатый. После смерти Людмилы Ивановны её родственники отказались от Марка, и он оказался беспризорником. Поскольку дед был только воспитанником Людмилы Ивановны, ему досталась только скрипка, которую она ему подарила, надеясь, что он поступит в консерваторию. Когда он не поступил в консерваторию, он в приступе отчаяния разбил скрипку — самое дорогое, что у него было. После долгих скитаний он смог устроиться регентом в церковь Спаса-на-Бору в Москве.

Когда ему исполнилось 25 лет, он женился на Екатерине Васильевне Лопухиной. Она была из совершенно разорившегося рода дворян Лопухиных. Семья жила в чрезвычайной бедности, Екатерина Васильевна зарабатывала на жизнь белошвейкой. У них к тому времени уже было трое детей, и Марк обратился за помощью к старшему брату, Александру.

К тому судьба оказалась более милосердной. Он был усыновлён богатым уральским лесопромышленником Александровым, у которого не было детей. После его смерти Александр, теперь Александр Николаевич Александров, стал богатым лесопромышленником.

Александр принял в судьбе младшего брата горячее участие. Но к тому времени его финансовые дела пошатнулись. Он вёл бесконечный судебный

процесс с бывшими владельцами леса. И всё же, когда брат приехал к нему с больной женой и тремя маленькими детьми, он сказал ему:

— Деньгами помочь не могу, у меня их нет. А сделаю вот так. Вон на реке стоит барка, гружённая бочками с дёгтем. Это тебе мой подарок на обзаведение, продашь и начнёшь жить по-новому.

Марк Маркович так и сделал. Оставив семью у брата на заимке, он спустился в низовья Волги, где продал и дёготь, и барку.

После этого он поселился на Урале в Катав-Ивановском заводе. Заработанные деньги он потратил на покупку дома и при нём лавочки с красным товаром. В Катав-Ивановске у него родилось ещё двое детей — дочь Евгения и сын Дмитрий. Но вела дело Екатерина Васильевна. И они разорились. К тому же она заболела туберкулёзом и вскоре умерла. Вот тогда-то он и поселился на речке Лазе среди башкир. Дед вынужден был жениться вторично. Всё имущество в Катав-Ивановском заводе было продано. На остатки средств дед арендовал три десятины земли у башкир деревни Калмакларово и с помощью опытного мельника и плотника построил мельницу на один постав на маленькой речке, впадающей в реку Юрюзань.

Местность была болотистая, нездоровая. Вся семья тяжело переболела малярией, и только неутомимая энергия деда, который достал в Уфе хинин, подняла на ноги всех детей и жену.

В Куркино у Марка Марковича был большой дом и мельница, которая обслуживала все окрестные села. В доме на кухне — большая русская печь с полатями, где спала вся ребятня. Здесь же на кухне кормились и хозяйка, и дети, и обслуга. В примыкающей к кухне большой комнате стояли три кровати с широкими пологам, почти до потолка. На них спали три семейные пары сыновей Марка Марковича — Павла, Николая и Александра. К этой большой комнате примыкала ещё одна, которую называли боковушкой. Здесь жил дед Марк Маркович со своим старшим сыном Львом Марковичем и его женой Прасковьей. Дети звали её тётей Параней. Она-то и была хозяйкой всей большой семьи. Марк Маркович в редкое свободное время и по праздникам играл на скрипке.

Длинный дом при мельнице. Чай, сахар для приезжающих на помол. Марк Маркович совершенно не пил. Когда женился сын Лев, даже не был на свадьбе: “Вы гуляйте, а я на это время уеду”. Жил до 90 лет...”

Лев Маркович, как мы видим, наследовал дело отца. Кем стали другие сыновья Марка Марковича? Открываю Златоустовскую краеведческую энциклопедию:

“Араловцы — семья учителя школы села Сикияз Златоустовского уезда Дмитрия Марковича Араловца (1870—1818). У Д. М. Араловца и его жены Валентины Ивановны (1874—1965) было шестеро детей — три сына (Аркадий, Викторин и Сергей) и три дочери (Екатерина, Нина и Надежда). Все члены семьи Араловцев, за исключением младшего сына Сергея, умершего в раннем возрасте (2,5 года), принимали активное участие в установлении Советской власти в Златоустовском уезде и в г. Златоусте в 1917-1918 годах.

Араловец Аркадий Дмитриевич (1899—1918) — старший сын Д. М. Араловца. Учился в Златоустовском техническом училище. В 1915 году вступил в РСДРП(б). Был партийным организатором и агитатором в молодёжной среде города. С января 1918 года — первый партийный комиссар почты и телеграфа Златоуста, командир красногвардейского отряда. Погиб 11 января 1918 года на боевом посту во время дежурства в штабе Красной гвардии. Похоронен в Златоусте.

Араловец Викторин Дмитриевич (1901—1918) — второй сын Д. М. Араловца. Вступил в РСДРП(б) весной 1918 года. Боец красногвардейского отряда. Член земельной управы Месягутовского волостного совета и Златоустовского уездного исполкома. Учился в Златоустовской мужской гимназии, вёл пропагандистскую работу среди молодёжи города. Во время Месягутовского кулацкого мятежа (в мае 1918 года) зверски замучен. После жестоких пыток 4 июня живым закопан в землю. Похоронен в селе Сикияз.

Араловец Екатерина Дмитриевна (1894—1976) — старшая дочь Д. М. Араловца. После окончания гимназии — сельская учительница. Во время Первой мировой войны — сестра милосердия в тыловом госпитале



(Подмосковье). В 1918–1919 гг. — участница большевистского подполья в Златоусте. Осуждена на 10 лет каторги...

Араловец Нина Дмитриевна (1902–1951) — вторая дочь Д. М. Араловца. Одна из деятелей молодёжного движения на Урале. Член РСДРП(б) с 1917 г. Училась в Месягутовской женской прогимназии, была организатором волостного союза молодых большевиков (СоМБо). В октябре 1918 года арестована колчаковской контрразведкой и подвергнута тюремному заключению. С июня 1919 года находилась на нелегальном положении. После освобождения Златоуста частями 26-й и 27-й дивизий Красной армии — секретарь организационного бюро, а затем секретарь первого уездного комитета РСКМ, инициатор проведения первого съезда комсомола.

Араловец Надежда Дмитриевна (1904) — младшая дочь Д. М. Араловца. Учёный-экономист, кандидат экономических наук (1952), доцент. Училась в Месягутовской женской прогимназии. Помогала братьям и сёстрам в их партийно-революционной деятельности...”

Ломаю голову: старший брат, Лев Маркович, как и отец, Марк Маркович, допускаю, что не по самому глубокому внутреннему чувству, то, по крайней мере, по жизненному поведению — русский, православный, мать русская, жена русская. Чувствуя себя русскими, православными, младшие братья крестьянствовали, учительствовали, строили с помощью отца и старшего брата свои мельницы на других речках, как, например, Егор Маркович, на мощном, вырывающемся из склона холма источнике Кургазак около башкирской деревни Ильтаево, уникальной слаборадиоактивной водой которого питается теперь широко известный санаторий “Янган-Тау”. На этом мощном роднике, не замерзающем в самые лютые морозы, на протяжении 500 метров, пока он мчитесь до Юрюзани, в проклятое царское время стояли три мельницы, две — кроме Егора Марковича, — ильтаевских башкир, и всем хватало работы. Дочери выходили замуж за детей окрестных крестьян.

А средний брат, Дмитрий, от одних с ними отца-матери, у которого жена тоже русская, в отличие от отца и других братьев, стал не просто законченным атеистом, а пламенным революционером-большевиком. Зная, каким уважением пользуется на селе учитель, которое можно сравнить только с уважением к священнику, он окончил Благовещенскую учительскую семинарию и, долгое время работая сельским учителем (во время поземельной переписи 1917 года подрабатывал статистиком), мучил сознание сельской молодёжи, отбирая её духовно у родителей и у священника, и надо признать, у него это неплохо получалось. Он втянул в подпольную революционную организацию свою русскую жену и детей, он втянул в неё немало молодёжи не только села Сикияз, в котором учительствовал, но и соседних сёл и деревень. Вроде бы какой смысл ему быть революционером? Чего ему не хватало? Хорошая учительская зарплата, достойные уважения и далеко не бедные старший брат и отец, другие братья, искренне считающие себя русскими, православными, пристроенные в гимназии и техническое училище дети. В нём проснулся тот страшный ветхозаветный дух разрушения ради мифического светлого будущего? Или всё-таки не мифического — только чьего? Ветхозаветные иудеи или иудействующие, как правило, не задумываются над тем, что рано или поздно этот дух разрушения бумерангом ударит по ним самим и самым страшным образом. Семья Д. А. Араловца — одна из тех, кто спровоцировал страшное Месягутовское крестьянское восстание против большевиков на северо-востоке Башкирии летом 1918 года. На эту семью, прежде всего, и обрушился народный гнев, в результате Дмитрий Араловец и его сын Викторин были убиты. Что касается сына Викторина, надо же было, будучи 18 лет членом красногвардейского отряда, членом земельной управы Месягутовского волостного совета и членом Златоустовского уездного исполкома, натворить столько дел, надо было так насолить русскому крестьянину, чтобы тебя закопали живым вниз головой в яме для телеграфного столба. Он особо рьяно выполнял предписание комиссара Наркомпрода А. Г. Шлихтера, присланного в Уфу в начале февраля 1918 г., который настаивал на более активном применении вооружённых отрядов для изъятия хлеба из деревни. Шлихтер вещал: “Необходимо в первую очередь обеспечить хлебом Петроград как оплот революции. Если же этого не будет сделано, то власть падёт,

а с нею и от всех завоеваний революции останется только одно воспоминание”. А тут ещё 31 мая 1918 года пришло в Уфу распоряжение за подписью самого В. И. Ленина-Бланка о “беспощадной войне против кулаков”.

Только через много лет я узнаю всю правду о Месягутовском крестьянском восстании, одном из сотен по России, вызванных большевистской продразвёрсткой и мобилизацией в Красную армию. Армия восставших составляла более 5 тысяч человек пехоты и 800 сабель конницы, месягутовцы позвали на помощь оренбургских казаков, люто ненавидевших большевиков... Что удивительно, в борьбе против большевиков сплотились, забыв прежние взаимные претензии, богатые и бедные. В то время богатый чернозёмом северо-восток Башкирии, который административно входил в Златоустовский уезд, несмотря на суровый, резко континентальный климат, был одним из плодороднейших уголков не только Уфимской губернии, но и всей России с крепкими, даже зажиточными мужиками. Если в 50 европейских губерниях на душу населения приходилось в среднем по 1,64 десятины земли, то тут вдвое больше. Потому на них в первую очередь и был положен глаз большевиков. Помимо чернозёма причиной зажиточности здешнего населения было то, что здешние крестьяне в большинстве своём никогда не знали крепостного права и задолго до Столыпинской реформы перешли к отрубной системе хозяйствования и соперничали с фермерами Северной Америки и Канады, и потому Столыпинская реформа практически не коснулась по своей ненужности этого края.

Ломаю голову. Многие евреи искренне становились православными и даже священниками. Но почему-то их потомки, в значительной части своей, — неужели, это происходит на генетическом уровне? — подчиняясь каким-то внутренним сигналам, возвращались в ветхозаветное иудейство, и не просто возвращались, а в какой-то мстительной злобе к своим предкам за отступничество от иудейства в них рождалась особая ненависть ко всему русскому, православному.

Дмитрия и Викторина Араловцев похоронят с революционными почестями. Для подавления восстания снимут с фронта части Красной армии с пулемётами и артиллерией, в Дуване расстреляют больше 1000 человек, 600 с лишним крестьян будут расстреляны в Месягутово, а в нём по переписи 1917 года было 3655 человек, то есть был расстрелян каждый пятый, включая детей, женщин и стариков. Расстрелы пройдут и по другим сёлам и деревням. Тысячи будут арестованы, обложены контрибуцией, лишены гражданских прав. Сумевших скрыться позже будут искать и находить по всей России, с ними будет неторопливо и обстоятельно разбираться Уфимский губернский ревтрибунал. Но и на этом не успокоятся, новая волна арестов обрушится в 30-е годы, подозреваемых в участии в восстании будут семьями ссылать на Крайний Север, в Сибирь. В результате был нанесён непоправимый урон крестьянскому генофонду, выкосили самых крепких и трудолюбивых. Семью Д. А. Араловца окружают государственной заботой, оставшиеся в живых уверенно пойдут по партийной и государственной стезе. Можно было предположить, что советская власть окружит заботой и других сыновей и внуков Марка Марковича Араловца как родственников пламенного революционера, погибшего за советскую власть. К своему удивлению, я обнаружил, что коллективизация с особой жестокостью прошла по Араловцам. Егор Араловец был одним из немногих, кто вернулся из лагерей, потом работал на разных мельницах уже наёмным мельником. А брата его, Павла Марковича, забрали вместе с сыном Александром, который был на мельнице при нём, так и сгинули в лагерях оба, ни слуху, ни духу. А самый младший, Михаил, тоже мельницу имел, так он не стал ждать раскулачивания, убежал в город Усть-Катав, там и женился, в дом вошёл нищим зятем, тем и спасся.

Может, по ним так жестоко прошли потому, что они стали русскими или стали считать себя русскими? Словно им жестоко мстили за это? Читаю в журнале “Православная беседа” воспоминания об архимандрите Иосифе (в миру Иване Яковлевиче Софронове), в 1916–1919 гг. бывшем в Ново-Иерусалимском монастыре и ставшем свидетелем его разгрома чекистами: “Приехали комиссары-евреи. В монастыре было несколько монахов еврейской национальности. Их первых вывели из обители и расстреляли. Остальных

монахов просто выгнали из монастыря”. Значит, всё-таки граница проходит не по национальному признаку, а по признаку веры в Иисуса Христа? Монахов-евреев расстреляли не как монахов, а как евреев-вероотступников.

Снова возвращаюсь к семье Д. А. Араловца. Его дочь Нина Дмитриевна вышла замуж за Венедикта Дмитриевича Ковшова, видного участника революции и гражданской войны, в 1920–1922 годы — председателя Уфимского губернского Ревтрибунала. Это он сурово и обстоятельно разбирался с мясугутовскими повстанцами. В Уфе в семье в 1920 году родилась дочь, назвали её Наташей. За участие в троцкистской оппозиции В. Д. Ковшов в 1929 году был исключён из партии. Позднее восстановлен, но в 1935 г. вновь исключён из партии и арестован. Так Наташа стала дочерью “врага народа”, который до 1949 г. находился в колымских лагерях. Возможно, сталкивался там со своими бывшими подсудимыми, которых он мягко не присудил к расстрелу. С 1949-го по 1954 год — в ссылке в Красноярском крае. Реабилитирован только в 1955 году, после смерти Сталина.

Надо ли говорить, с каким чувством жила Наташа Ковшова, что её отец, герой гражданской войны — “враг народа”, в колымском концлагере, а потом в ссылке. Ей это как дочери “врага народа” помешало после школы поступить в Московский авиационный институт, куда она очень стремилась. Нине Дмитриевне с трудом удалось её устроить на работу в трест “Оргавиапром”. Положение Наташи усугубилось тем, что в 1937 году был арестован и в 1938-м расстрелян муж тётки, Надежды Дмитриевны. Ещё один родственник — “враг народа”.

Сохранилась написанная ею автобиография для личной карточки по учёту кадров: “5 мая 1941 года: “Я, Ковшова Наталия Венедиктовна, родилась 26 ноября 1920 года в гор. Уфе Башкирской АССР. В 1929 году поступила в среднюю школу, которую окончила в 1940 году. В 1938 году в апреле месяце поступила в члены ВЛКСМ. Взысканий по комсомольской линии не имела. К суду и следствию не привлекалась. В 1940 году поступила работать в трест “Оргавиапром”, где и работаю по настоящее время в должности карготетчицы. Моя мать, Араловец Нина Дмитриевна, родилась в 1902 году в селе Сикияз Дуванского района. Имеет н/высшее образование. Бывший красный партизан, член ВКП(б) с 1917 года. К суду и следствию не привлекалась. В настоящее время работает на ВСХВ в должности зав. Омским и Красноярским залами. Мой отец, Ковшов Венедикт Дмитриевич, родился в 1898 году на Урале. До 1927-28 годов жил вместе с нами. Ушёл из семьи, когда мне было семь лет. В 1935 году арестован органами НКВД и выслан на Колыму. Никакой связи с ним не имела и не имею. Дополнительных сведений о нём сообщить не могу”.

Не могла не жечь душу судьба отца. Верила ли она в его виновность? Как только началась война, она попыталась записаться добровольцем на фронт. Её не взяли. Тогда она становится бойцом команды ПВО в своём тресте, несёт дежурство на крыше во время авианалетов. Каждую свободную минуту проводит в стрелковом тире.

— Пригодится, — отвечает на вопросы родных и знакомых.

Пригодилось. В числе лучших стрелков её направляют в школу снайперов, по окончании которой вместе со своей подругой Машей Поливановой она вступила в рабочий коммунистический добровольческий батальон Коминтерновского района Москвы, который вошёл в 528-й стрелковый полк 130-й стрелковой дивизии 1-й Ударной армии. После её гибели, представляя её к званию Героя Советского Союза, командир полка майор Чернорусских и военком — старший батальонный комиссар Петров-Соколовский в наградном листе писали:

“Снайпер-инструктор красноармеец Ковшова Наталья Венедиктовна в грозные октябрьские дни 1941 года, когда враг подходил к Москве, одной из первых добровольно пришла в сформировавшийся коммунистический батальон Коминтерновского района Москвы.

С первых же дней тов. Ковшова выделялась на работе по сооружению подмосковного оборонительного рубежа, занимаемого батальоном. И принялась за формирование снайперской группы. В феврале 1942 года тов. Ковшова Н. В.

вместе с полком прибыла на фронт, активно участвуя во всех его операциях. Скоро на личном счету тов. Ковшовой 167 истребленных ею фашистских солдат и офицеров. 21–22 февраля в боях за деревню Новая Русса тов. Ковшова истребила 11 гитлеровцев, большинство из них “кукушки”. В боях за деревню Гутчиво тов. Ковшова уничтожила 5 солдат противника. Во время боя, рискуя жизнью, под ураганным огнём врага она вынесла с поля боя тяжело раненного командира 3-го батальона, старшего лейтенанта Иванова. В этих боях тов. Ковшова являлась офицером связи. С работой справлялась отлично, чем в значительной степени облегчила овладение населённым пунктом. В боях за деревню Велекуша 1–4 марта снайпер тов. Ковшова уничтожила 142 солдата противника, совместно со снайпером красноармейцем тов. Поливановой был уничтожен пулемётный расчёт противника, благодаря чему наше подразделение получило возможность продвигаться вперёд. В эти дни тов. Ковшова совершила замечательный подвиг: под сильным огнём противника вынесла с поля боя тяжело раненного командира полка майора Ловнара, спасла ему жизнь.

Тов. Ковшова вместе с тов. Поливановой явилась инициатором снайперского движения в полку. За короткое время они подготовили 26 снайперов, которые истребили около 300 гитлеровцев. Показывая личный пример, тов. Ковшова и Поливанова, охотясь за врагом, убили свыше 40 фашистов. Участвуя в боях за деревню Большое Врагово, тов. Ковшова уничтожила 6 гитлеровцев. Будучи ранена, отказалась покинуть поле боя.

14 августа 1942 года полк вёл наступательные бои севернее реки Рось. На один из самых ответственных участков, где противник оказывал наиболее сильное сопротивление и не давал продвигаться нашему подразделению, была выдвинута лучшая снайперская пара: тт. Ковшова–Поливанова. Они метко разили фашистов, истребив не менее 40 солдат и офицеров. Во время боя выбыл из строя командир снайперской группы, и тов. Ковшова приняла командование на себя. В этот момент гитлеровцы пошли в контратаку. Хладнокровно, не открывая себя, снайперы подпустили противника на близкое расстояние и по команде тов. Ковшовой открыли меткий губительный огонь. Десятки фашистских трупов остались валяться в 30 метрах от снайперской группы. Контратака немцев захлебнулась, они отступили. По месту расположения снайперов противник открыл бешеный миномётный огонь. Мины ложились кучно, не оставляя живого места. Собрав силы, противник снова пошёл в контратаку.

Воодушевлённые мужеством девушек Наташи Ковшовой и Маши Поливановой, снайперы не отступили ни на шаг. Группа их редела, но оставшиеся в живых раненые продолжали вести меткий огонь по врагу. Среди раненых были тт. Ковшова и Поливанова.

Вскоре в живых остались только тов. Ковшова, Поливанова и Новиков, который оказался тяжело раненым. Стрелять могли только подруги, несмотря на страшную боль. Патроны были уже на исходе, тов. Ковшова получила второе ранение. Гитлеровцы приблизились к снайперской ячейке, решив взять советских воинов в плен. Фашистский офицер кричал: “Рус, сдавайся!” Тов. Ковшова ответила: “Русские девушки живыми не сдаются!” — и пустила в фашиста последнюю пулю, свалив его за смертью.

Вторично была ранена и тов. Поливанова. У них осталось 4 гранаты. Немцы подошли к ним совсем близко. Тогда тт. Ковшова и Поливанова, собрав последние силы, бросили в набежавших гитлеровцев по гранате, уничтожив ещё с десяток вражеских солдат.

Гитлеровцы окружили ячейку. Тт. Ковшова и Поливанова молча простились, поцеловались, приготовили последние гранаты. Они теряли остаток сил. Немцы прекратили огонь. Подступив к окопчику, они пытались взять отважных снайперов живыми. Раздался два гранатных взрыва. Враги были разнесены в клочья. Погибли и красноармейцы тт. Ковшова Наталья Венедиктовна и Поливанова Мария Семёновна”.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года Ковшовой Наталье Венедиктовне и Поливановой Марии Семёновне присвоено посмертно звание Героя Советского Союза...

Таков вот частный случай разрешения извечного русско-еврейского вопроса.

## Мой брат Ваня

Пришла пора подводить итоги и каяться.

Нет, наверное, грехов, в которых я не был бы грешен. Но чем дальше во времени, тем чаще встаёт в памяти один, не прощаемый, по крайней мере, самому себе, грех.

Я, после сдачи вступительных экзаменов и только что зачисленный на первый курс университета, еду к родителям, чтобы сообщить им об этом и собрать немудрёный скарб в новую жизнь.

Вот и бывшая до недавнего времени родной узловая станция Кропачёво, в двадцати пяти километрах от которой моя родина — деревня Старо-Михайловка. Но родители после очередной хрущёвской реформы, на сей раз укрупнения районов, в результате чего отец оказался без работы, переехала на жительство в горнозаводской городок Юрюзаны.

Любой поезд в Кропачёво останавливается не менее чем на полчаса, и я первым выскакиваю на перрон: вдруг встречу кого из земляков. Я скрываю это от себя, но меня так и распирает рассказать кому-нибудь, что я студент, и не просто студент, а студент университета. Но, как назло, никого из земляков не встретил. Ни на перроне, ни на площади за вокзалом на остановке автобусов, ни в самом вокзале, в зале ожидания, где в своё время пришлось столько натерпеться унижения от красномордого старшины Шабрина, царствие ему небесное, может, встречу с ним скоро. Сколько бессловесного деревенского люду, порой сутками ожидающего оказии до своих деревень, выгнал он на мороз, в бурю, в дождь, даже когда зал ожиданий пустовал, потому что якобы по инструкции полагалось, что в зале ожиданий можно было ожидать только поезда, а на самом деле под этим предлогом вымогал деньги.

До отправления поезда оставалось не более десяти минут, и я вернулся на перрон. И неожиданно из подошедшей электрички вываливается мой двоюродный брат Ваня, который был на два года старше меня.

Ваня от рождения или от голодного послевоенного детства был косоплеч и косоглаз до того, что оба зрачка порой закатывались вверх к переносице навстречу друг другу и, казалось, встречались там за ней. Потому никто его между собой иначе, кроме как Ваня-Косой, не называл, и когда в классе учительница, вызывая к доске, называла его Ваня Чванов, он не сразу обрадовался, что это относится к нему. По прежней детской жизни мы не были близки, теперь мне стыдно, что я в детстве даже сторонился его. Потому что тоже был косой, правда, не в такой степени, и если бы не Ваня, носить бы мне по жизни это прозвище. А сейчас я обрадовался ему и видел, что он обрадовался мне ещё больше.

— Ты с электрички, от родителей? — крепко взял он мою руку и не отпускал. — В одной электричке ехали? Проведать Старо-Михайловку? Вот хорошо, вместе поедем!

— Нет, еду до Вязовой, к родителям. Вон мой поезд стоит. Минут через пять тронется.

Я видел по его глазам, что с ним что-то случилось, что ему нехорошо, хотя хорошо у него в жизни, наверное, никогда не было. Теперь я знаю, он нёс по жизни чей-то, кроме своего, тяжёлый и горький крест, и он ему, больному, одинокому среди людей, отверженному сверстниками, доброму среди нас, жестоких, оказался не под силу.

Но вместо того, чтобы спросить, что случилось, я понёс околесицу про свои успехи, про университет, про свою будущую прекрасную студенческую жизнь, а за ней открывались ещё более радужные перспективы, а до отправления моего поезда оставалось всего несколько минут. Не замечая слёзы, стоявшие в его глазах, которые у него всегда были, словно раны, я продолжал нести свою околесицу, а он, стараясь меня не перебивать, вставлял в паузах:

— Хорошо, что я тебя встретил... мне нужно с тобой поговорить... посоветоваться... Может, поедешь следующим поездом?..

Но я по-прежнему нёс свою околесицу про свою будущую прекрасную жизнь. Уже объявили отправление моего поезда. Ваня по-прежнему не отпускал мою руку и всё пытался поймать мой взгляд:

— Уедешь следующим, они идут каждый час! Мне надо посоветоваться с тобой, может...

Скрипнули тормоза. Поезд начинал трогаться. Я с трудом освободился от его руки:

— Летом на каникулы приеду, если не отправят куда-нибудь на практику. У нас практика может быть даже в Сибири или на Дальнем Востоке...

Он как-то безнадежно махнул рукой, скрывая вдруг брызнувшие из глаз слёзы, и вдруг заплакал навзрыд, чего не было принято в нашей суровой послевоенной деревне, в которой, кроме моего отца, вернувшегося с войны инвалидом, ни у кого из моих сверстников отцы с войны не вернулись.

Я, было, уже готов был спрыгнуть с подножки, но проводница, ругаясь, оттеснила меня вглубь тамбура, захлопнула дверь...

Муторно было на душе, на другой день я ехал обратно, но на станции Кропачёво уже не искал знакомых, даже не стал выходить из вагона: перед глазами стоял мой брат Ваня... Но через день-два всё забылось, студенческая жизнь захватила меня. А через неделю я из письма матери узнал, что в тот день, вернувшись в деревню, Ваня повесился...

Потом говорили, от безответной любви.

И вот этот грех не даёт мне покоя. Кажется, со временем боль должна была поутихнуть, а она с каждым годом всё сильнее и сильнее, хотя с того времени столько воды утекло и кого только я за эти годы не терял: и родных, и друзей. Мне кажется, останься я тогда на перроне, хотя бы до следующего поезда, может, это стало бы для него спасением. Может, хватило бы несколько тёплых слов, которых он так мало слышал в своей жизни.

Ваня был сыном тётки Анны, старшей сестры моего отца. Вдова, колхозница, тянула четверых детей. Они жили наискосок от нас, напротив. Тётя Анна на нашей улице была, кажется, единственной не фронтовой вдовой. Мужа, сына нашего соседа слева, деда Лекандры, я не помню, он умер рано, перед этим несколько лет не поднимался с постели, но тем не менее дети рождались один за другим. Самое печальное, что рождались они тоже больными, кроме самых старших, которые было зачаты, видимо, когда его ещё не свалила лихая болезнь. Уже прикованный к постели, он поднимал на тётку Анну руку, и потому трудно сказать, горем или радостью была для неё его смерть, к тому же — одним ртом меньше. Спасал большой, в тридцать соток, огород. Из-за недогляду — весь день на ферме — предпоследняя дочь, Лида, в младенчестве свалилась с полатей и на всю жизнь осталась не по возрасту маленькой и горбатой, по этой причине не могла выйти замуж. Ваня был последним в семье, на него у отца, видимо, уже не хватило сил. Кроме того, что он рос косоглазым, он был, как я уже говорил, нескладно сложен, одно плечо выше и шире другого, с не пропорционально телу большой головой, широкий лоб делал её ещё больше.

Не знаю, как было в других весях, но мы в детстве, дети военного и послевоенного времени, не подозревая о том, были жестокими. Нормальной забавой у нас считалось разорять сорочьи и вороньи гнёзда, потому как сороки и вороны кем-то были внесены в разряд вредных, в своего рода птичьих врагов народа, но особое удовольствие доставляло разорять, когда в них были не яйца, а уже когда вылупились птенцы. Мы рассаживали их в ряд на каком-нибудь пригорке и расстреливали камнями, как проклятых фашистов, и то ли некому было нас пристыдить или это и у взрослых считалось нормой. Ваня не участвовал в этих жестоких играх, как только они начинались, не умея противостоять нам, с плачем убегал домой. Мы были жестоки и по отношению друг к другу, и косоглазому и скособочному Ване доставалось больше других. Почему-то некоторым из нас доставляло удовольствие кричать ему велед: “Ванька-Косой!” Я и сейчас затрудняюсь сказать, за что мы метили ему. За то, что он был добрее нас? И часто доводили его до слёз, но наступило время, когда он, повзрослев, перестал плакать, замкнулся в себе и стал сторониться нас. Его любимым делом, в отличие от нас, носящихся с деревянными автоматами по заросшим коноплей заброшенным колхозным сараям, было возиться с домашней живностью, особенно с голубями. Он часто пропускал уроки по болезни, а зимой и по отсутствию тёплой одежды, потому в каждом классе был второгонником.

Но однажды у него был праздник. Из подаренной кем-то старой железно-дорожной шинели тётя Анна сшила ему тёплую куртку. О ней было много разговоров, потому как шилась она долго. И потому, что мать впервые взялась за такую сложную работу, и потому, что у неё не хватало на шитьё времени: с темна до темна — тяжёлая колхозная работа, за которую редко платили, а после работы домашнее хозяйство, за счёт которого и жили-выживали. И вот, наконец, куртка сшита. Ваня шёл в школу гордый. Но в школе его встретили всеобщим хохотом: один рукав был короче второго, хлястик почти на шее. Ваня горько заплакал и не приходил в школу несколько дней. Он сказал матери, что не будет больше учиться. Тогда по приказанию директора к Ване пошла учительница и долго его уговаривала, а директор перед этим построил всю школу и долго стыдил. После всего этого Ваня долго болел.

После смерти Вани я редко, но навещал родную деревню, не столько родственников, которых почему-то сторонился, сколько родную реку Юрюзань, гору Сосновку, единственно которой доверял свои детские беды, но каждый раз старался зайти к тётке Анне с каким-нибудь подарком. Я почему-то любил её больше других своих родственников, может, даже больше, чем своих родителей. Жила всю жизнь для других, для детей, всех прощая, в том числе колхоз, который платил по трудодням крохи и то только время от времени, и государство, которое ей начислило пять рублей пенсии. «Вон сколько по стране пенсионеров развелось, разве на всех денег хватит», — оправдывала она государство, гордилась, что за всю свою жизнь не пропустила ни одного рабочего дня и имела от колхоза похвальную грамоту.

— Как это не пойти на работу?! — возмущалась она. — Один не пойдёт, другой...

Помню последний приезд, когда я её ещё застал. Был золотой сентябрь, жёлтые и багряные листья плыли по притихшей осенней Юрюзани. Она копалась в огороде, на костылях убирала картошку. Шутила:

— Другие старухи в моём возрасте озоруют, а я ещё ничего.

Я помог перетаскать картошку в подпол.

— Да что ты, гость ведь, Стеша придёт с работы, перетаскает.

Стеша — сноха, круглая сирота из соседней деревни, Русского Малояза, откуда в своё время выселились в будущую Михайловку мои предки. Учась в школе у нас в Михайловке, жила у своей тётки, до седьмого класса моя одноклассница, затем бросила школу, постаревшая тётка больше не могла тянуть её. Некрасивая, крупная, широкая в плечах, с тихой виноватой улыбкой. В деревне для неё женихов не нашлось, пришлось выйти замуж за брата Вани Алёшу, телосложением тоже прижатого к земле, он был на две головы ниже Стеши. Сколько радости было в семье: выучился на водителя, всё хорошо бы, но пьяный — шепутной, повздорил с милиционерами, те в кутузке посадили его кобчиком на бетонный пол, после чего у него отнялись ноги и даже речь, лежал лежнем, кормили с ложки. Пытаясь заговорить со мной, только мычал, но удивительно: чисто, без языковых изъянов матерился, и лёжа на спине, глядя в потолок, часами отводил душу в мате, пока не придёт с работы Стеша и не перевернёт его на другой бок.

Умерла тётя Анна через месяц после моего приезда. Умерла скоропостижно, никому не создавая хлопот. Не знаю, наказывала ли она в случае смерти известить меня, но меня мои родственники о её смерти не известили, чего я им не мог простить, словно мстили за то, что любил её больше их. Только через год проездом мимо своей деревни я заглянул на её могилку.

Умерла и обнаружилось, что запаслась продуктами: и на поминки, и на девять дней, и на сорок. Масло, которое покупала по талонам, топила несколько раз с луком, чтобы не пахло прогорклым. Сказала снохе Стеше перед смертью:

— Чтобы ничего не брать ни у кого, чтобы никому не быть должным. Всё на столе только чтобы своё.

Так провели поминки, и девять дней, и сорок, а ещё осталось.

Строго наказала, чтобы похоронили в некрашеном гробу и чтобы ни в коем случае не было красного цвета.

Каждый раз, когда я редко бываю на кладбище, долго смотрю на фотографию деда по отцу, Алексея Степановича, говорят, я похож на него, в том

числе и характером. Я смутно помню его, уже не поднимающегося с постели. Потом я иду к могиле брата Вани. Его взгляд на фотографии даже сейчас не могу долго выдержать. Думаю: “Если бы Стеша вышла замуж за Ваню, всё было бы иначе”. Но у жизни другой расклад. Тётя Анна смотрит с портрета прямо, строго поджав губы, словно фотографировалась на доску почёта, с чувством, что она всё сделала в своей жизни, что могла сделать, а остальное от неё не зависит.

Похоронив Алёшу, — к концу жизни он стал выговаривать отдельные слова и меньше материться, — и подняв на ноги четверых детей, Стеша уехала жить в свою деревню к родственникам покойной матери. Жила она долго. Проезжая иногда по этой деревне, я знал, что в этом вот доме доживает свой век Стеша, родная душа, тихий и добрый русский человек. Но почему-то ни разу не решился заехать поведать её, почему-то я чувствовал себя перед ней виноватым. А в позапрошлом году, проезжая мимо, узнал, что Стеша умерла.

Теперь мой черёд. Может, там разберёмся, почему мы были такие. Такие родные и в то же время такие чужие друг другу на этой земле.